

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

45512221 00

65 212 454941

# ИДУЩИЕ В НОЧИ

1611 54621 00

ЛУЧШИЕ ВОЕННЫЕ РОМАНЫ

Мир без войны не надо

Последнее предупреждение

65 212 454941

Координаты



Война — это не игра. Война — это реальность. Война — это жизнь и смерть. Война — это страдания и радость. Война — это любовь и ненависть. Война — это все.

Приказы не обсуждаются

34 478 4821

След на афганской пыли

СПЕЦНАЗ. ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Александр Проханов

**Идущие в ночи**

«ЭКСМО»

2001

## **Проханов А. А.**

Идущие в ночи / А. А. Проханов — «Эксмо», 2001

«В этот час ранней ночи Грозный напоминал огромную горящую крышу, ребристую, кипящую жидким гудроном, с черно-красным ядовитым огнем, из которого вырывалась клубами жирная копоть. Ветер гнал в развалины дома запах горелой нефти, кислого ледяного железа, сырого зловонья порванных коммуникаций. В разоренных жилищах, в разбитых подвалах, в черной жиже плавали доски, набрякшие одеяла, убитые собаки и люди. Ленивый пожар соседней пятиэтажки, расстрелянной днем из танков, трепетал в осколке стекла, застрявшего в обгорелой раме. Лейтенант Валерий Пушкин, командир мотострелкового взвода, смотрел на эту ломаную стеклянную плоскость, в которой, как в зеркале, отражался изуродованный, в кровоподтеках и ссадинах, город...»

© Проханов А. А., 2001

© Эксмо, 2001

## Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	17
Глава третья	33
Глава четвертая	42
Конец ознакомительного фрагмента.	45

# Александр Андреевич Проханов

## Идущие в ночи

*В знак неба и идущего в ночи!..*

*Коран*

### Глава первая

В этот час ранней ночи Грозный напоминал огромную горящую покрывку, ребристую, кипящую жидким гудроном, с черно-красным ядовитым огнем, из которого вырывалась клубами жирная копоть. Ветер гнал в развалины дома запах горелой нефти, кислого ледяного железа, сырого зловонья порванных коммуникаций. В разоренных жилищах, в разбитых подвалах, в черной жиже плавали доски, набрякшие одеяла, убитые собаки и люди. Ленивый пожар соседней пятиэтажки, расстрелянной днем из танков, трепетал в осколке стекла, застрявшего в обгорелой раме. Лейтенант Валерий Пушкив, командир мотострелкового взвода, смотрел на эту ломаную стеклянную плоскость, в которой, как в зеркале, отражался изуродованный, в кровоподтеках и ссадинах, город.

Пушков осторожно выставлял в оконный проем край каски, чувствуя височной костью ледяное пространство улицы с размытыми неосвещенными зданиями, в которых, как невидимые живые точки, таились чеченские снайперы. Его глаза туманил тугой ровный ветер, наполненный кристалликами льда, наждачной пылью развалин, металлической пудрой измельченных осколков. Улица, пустая, обставленная белесыми зданиями, пропадала вдаль. Запорошенная снегом, была покрыта черными вмятинами, бесформенными глыбами, от которых на снег ложились слабые тени. Напоминала ночную поверхность луны с рябыми кратерами, корявыми скалами, белесой мучнистой пылью. Посреди улицы, близко, лежал убитый чеченец. Его, перебежавшего улицу, настигли две колющие пульсирующие очереди. Держали секунду в своем мерцающем перекрестье. Отпустили, полетев дальше, вдоль дырявых стен. А он, в пятнистом комбинезоне, с черной бородой, упал на снег и лежал весь день, покуда длился бой. И вечер, когда избитые фасады на минуту озарились жестоким латунным солнцем. И в мутных сумерках, когда полетела жесткая, как пескоструй, метель. И теперь, ночью, убитый чеченец лежал на присыпанной снегом улице, под вялым заревом, обведенный едва различимой тьмой. Пушкив знал, что за ним придут. Быстрые, как духи, боевики выскользнут из соседних развалин, не касаясь земли, приблизятся к трупам. И тогда посаженный в глубине слухового окна снайпер Еремин разглядит в ночной прицел зеленые водянистые тени, уложит их двумя негромкими выстрелами.

Дом, в котором находился Пушкив, и еще два соседних были взяты во время дневного штурма, превращены в рубеж обороны. По крышам сидели снайперы. В проломах стен скрывались дозоры. Во внутренние, недоступные вражеским гранатометчикам дворы была подтянута бронетехника. В глубине квартир и подвалов отдыхали штурмовые группы. Солдаты лежали вповалку на сырых матрасах. Верещали рации. Командиры передавали в батальон конечные цифры потерь. Иногда вспыхивала зажигалка, озаряла нос, вытянутые губы, сжимавшие сигарету. Меркла и в черноте, повторяя уступы лестницы, двигалась вверх малиновая точка.

Соседний, отделенный сквером дом был объектом завтрашнего штурма. Пушкив всматривался в орнамент искореженных деревьев, сквозь которые завтра он поведет взвод. Казалось, черные, затянутые в трико танцовщицы воздели худые руки, выгнули острые бедра, запрокинули головы, застыли в наклонах и поворотах на одной ноге. Снаряды и пулеметные очереди, проносясь по скверу, вонзались в кирпич и известку дома, секли деревья, лохматили кору,



впивались в глубину стволов. Пушкин всматривался в дом, в его темные глазницы, чувствуя среди холода промерзших стен живую теплоту огневых точек, заложенных мешками бойниц, укрытых у фундамента пулеметных и снайперских гнезд. Его мысли были геометричны, как автоматные трассы. Воспроизводили траектории дымных гранат, белые объемы плазмы, секторы обстрела, мертвые зоны. Сквозь переменный, искрящийся чертеж, состоящий из множества углов, вершин, биссектрис, он мысленно прокладывал путь, по которому завтра в составе штурмовой группы поведет взвод. Будет кидаться на снег у вывороченных стволов, ставить дымовые завесы, пережидать огневые налеты, вызывать огонь танков, докладывать об убитых и раненых. Он смотрел на сквер, на туманное здание, как на завтрашнее поле боя. Оно вызывало у него отторжение, щемящую, похожую на тоску неприязнь, которые он преодолевал упорной волей, цепкой мыслью, таящейся под сердцем уверенностью – дом будет взят, и к вечеру он, Пушкин, станет выглядывать из пролома, рассматривать следующий, продолговатый желто-зеленый дом, отмеченный на карте как Музей искусств, напичканный огневыми точками, как перезревший огурец семенами.

Ночной Грозный гудел, скрежетал, хрустел, словно черная, с искрящейся шерстью собака грызла огромную кость. Редко и гулко ухали на окраинах тяжелые бомбы, прокатывая по фундаментам медленные волны звука. От этих колебаний начинали качаться угрюмые пожары в районах нефтехранилищ и складов. На тучах колыхались красные вялые отсветы. Часто, беспокоящим огнем, принималась бить пушка боевой машины, посылая вдоль улицы малиновые трассеры, гаснущие в липкой мгле. Мелкими хаотичными тресками, красными россыпями обнаруживали себя автоматчики. Либо группа спецназа, рыскающая по чеченским тылам, напоролась в развалинах на засаду и теперь, огрызаясь, пробивалась обратно, к своим. Либо одинокий часовой среди обломков стен, напуганный тенью пробежавшей собаки, начал палить во все стороны, успокаивая себя грохотом тяжелого автомата. Редко с мягким треском, как стручок сухой акации, хлопал выстрел снайпера, углядевшего огонек сигареты или лучик фонарика. В мрачном небе, среди грязных туч, вдруг взлетала осветительная ракета, загоралась, как лучистая золотая лампа. И пока она медленно, сносимая ветром, качалась над улицей, были видны каждый камушек и осколок, обведенные тенью, каждый узор лепнины на мертвом фасаде, каждая выбоина на стене. На белом снегу, озаренный лучистой звездой, отбросив руку, вывернув бородатую голову, лежал чеченец, и под ним чернела то ли тень, то ли застывшая кровь.

Лейтенант Пушкин чувствовал город как огромную скорлупу, в которую была заключена его жизнь. Его солдаты отдыхали после дневного боя, соорудив камелек в глубине развалин. Его командиры склонились над картой, освещая фонариком квартал, куда утром устремится штурмовая группа, и он побежит, уклоняясь от пуль, среди расщепленных деревьев. И среди опасностей и смертельных угроз, среди бесчисленных стволов и фугасов, искавших его в развалинах убиваемого города, существовала невидимая, хранящая и сберегающая сила. Его отец, начальник разведки, воюющий тут же, среди пожаров и взрывов, чей командный пункт медленно, вместе со штабом, перемещался от окраин к сердцевине города, вслед за штурмующими батальонами. И где бы ни был он, лейтенант Пушкин, – лежал ли в теплой воронке, пропускающая над собой пулеметные очереди, или мчался в короткой перебежке, успевая заметить гранатометчика, припавшего на колено с острой репой гранаты, или дремал на сыром топчане в отвоеванном доме, слыша сквозь дремоту ровный треск догорающей крыши, – всегда отец был рядом. Направлял, утешал, хранил. Посылал ему сквозь битый кирпич и едкий смердящий дым свою благую весть, отцовскую силу и бережение.

– Товарищ лейтенант, – окликнул его сзади солдат Касымов, по прозвищу Косой, прохрустев сапогами по битому стеклу, – у нас все готово, вас ждем. Приглашаем на день рождения.

В глубине разгромленного дома в обгорелой комнате, чьи окна, занавешенные одеялами, были обращены в тыл, в безопасную сторону, был постелен ковер. Прожженные дыры и обуг-

ленные узоры ковра были бережно застелены кусочками нарезанной ткани. На ковре, сделанные из консервных банок, горели коптилки, щедро освещали убранство стола. На тарелках дорогого сервиза, кое-где надтреснутого и надколотого, лежали солдатское сало, горы тушенки, грубо нарезанный хлеб. В хрустальных бокалах краснел компот, добытый из раскупоренной банки. Тут же стопкой поблескивали ножи и вилки, собранные по квартирам в разбитых и сгоревших буфетах. По углам комнаты, прислоненные к стенам, стояли автоматы, ручные гранатометы и тубусы огнеметов «Шмель», все на виду, под рукой, освещенные коптилками. Стол был сервирован по случаю дня рождения сержанта Клычкова, носящего прозвище Клык, который величественно восседал на полу на расшитой подушке, словно восточный хан в окружении приглашенных в юрту гостей.

– Товарищ лейтенант, ваше место! – пригласил Клык Пушкива, гостеприимным жестом указывая на вторую расшитую цветными узорами подушку, усаживая командира напротив себя. – Прикажете начать!..

Пушков уселся, сдвигая грязные ботинки в сторону, подальше от тарелок. Усмехнулся одними зрачками фамильярности Клыка, золоченому сервизу с нарезанными луком и салом, соседству пушечных гильз и хрустальных бокалов, солдатским лицам, на которых бегали тени и свет, нетерпеливо блестели глаза и лежало одинаковое у всех наивное, детское ожидание праздника, который они устроили себе среди минных полей и развалин.

– Ну что, Клык, хочу я тебе сказать в день твоего светлого праздника!.. – Пушков поднял хрустальный бокал с компотом, обхватив его грязной исцарапанной пятерней. Держал над коптилкой, видя, как мерцает в глубине бокала рубиновая искра. – Ты знаешь, как все мы тебя любим и уважаем. Радует, что такой человек, как ты, воюет в нашем взводе. Смелый, справедливый, надежный, который, если что случится в бою с командиром, примет командование, не растеряется, доведет бой до конца. Желаем, чтобы все чеченские пули огибали тебя на сто метров и попадали в кирпич. Чтоб у снайперов, когда они тебя видят, сразу слипались глаза. Чтобы мины и растяжки ты нюхом чуял и обходил, как поисковая собака. Чтобы твой «АКС» бил без промаха и тебе всегда хватало патронов. Чтобы ты с медалью за взятие Грозного вернулся к отцу и матери, которые расцелуют тебя на пороге родного дома. И следующим праздником была бы у тебя свадьба с твоей Танюшей, куда ты нас всех пригласишь. Будь здоров, Коля!

Он протянул бокал, и Клык, довольный, серьезный и благодарный, чокнулся с командиром. Все тянули бокалы с компотом, сближая свои закопченные, поцарапанные, перебинтованные руки, наслаждаясь нежными звонами, красными отблесками, глубокими искренними словами лейтенанта, столь непохожими на его командирские рыки, злые приказы, беспощадные разносы и понукания. Желали своему товарищу благополучного возвращения с войны.

– Клык сегодня в песочнице лежал кверху задницей. – Гранатометчик Ларионов, по кличке Ларчик, с наслаждением и чмоканьем отпивал сладкий компот. – Думаю, чего он не стреляет? Может, задело? Подползаю, а он из песка куличики лепит. Он ведь у нас маленький, Клык. Ему детское ведерочко и совочек подарить надо!

Солдаты загоготали, держа у губ бокалы с компотом. Ларчику, весельчаку и насмешнику, было позволено шутить над здоровенным и властным Клыком, чьих кулаков и сердитых взглядов побаивались остальные солдаты взвода. Днем штурмовая группа была задержана пулеметчиком. Чеченец проткнул стволом оконное стекло, поливал очередями двор, через который двигался взвод. Солдаты залегли на детской площадке, среди качелей, грибков и лесенок. Клык плюхнулся в заснеженную песочницу, пережидая огонь, пока не ударил в дом долгожданный танковый выстрел. Подавил пулемет. И тогда Клык тяжело побежал, посылая в подъезд из подствольника звонкий короткий взрыв.

– Клык, хочу тебе сделать подарок. – Косой улыбался скуластым лицом, на котором темнел мазок копоти и блестели коричневые глаза. – Ты заслужил. Клык, я тебя уважаю. – Он

сунулся в сторону, в тень, и вынес оттуда большую стеклянную вазу, прижимая ее к животу. Эту вазу, уцелевшую от пуль и осколков, он нашел в соседней квартире, одарял ею сержанта, выказывая благоволение. – Цветы пусть другой подарит! – Он кивнул на занавешенное одеялом окно, за которым ледяной черный город искрил автоматными трассами, ахал ударами бомб.

– Спасибо, Косой. Лучше бы ты этот подарок мне домой переслал! – Клык принял стеклянное изделие, поставил его рядом с измызганным сапогом, свет коптилок замерцал в драгоценных узорах. – Отнесешь ее в бээмпешку, будем в ней лук держать.

– Клык, от меня прими! – Снайпер Флакошин, по кличке Флакон, румяный, с золотистым пушком над губами, протянул имениннику розовый махровый халат. – Поверх бронежилета носи. Чечен увидит, не станет стрелять. Подумает: «Ах, какая молодая симпатичная женщина! Только из сауны!»

Все гоготали, глядя, как Клык пытается просунуть в розовые рукава свои мускулистые ручищи. Не сумел, накинул халат на плечи. Восседал на цветастой подушке, еще больше походя на восточного богдыхана.

– Спасибо, брат. Никогда не забуду твой маскхалат. – Клык приподнял бокал, поводя им в разные стороны, и все отпили, обмывая дорогой подарок.

– А это тебе, Клык, чтобы счастье свое не проспал! – Чернявый, краснотубый, похожий на цыгана Мызников, по прозвищу Мазило, поставил на ковер круглый будильник. Тронул кнопку. Будильник бодро, трескуче зазвенел. Все радостно слушали этот домашний звон, наклоня голову, как делает ценитель музыки, наслаждаясь мастерской игрой. Будильник израсходовал запас шума и треска, умолк. Клык поглаживал его хромированную головку, улыбался блаженно толстыми, испачканными компотом губами.

– А это тебе, Клык, за боевые заслуги, не дожидаясь, пока тебя представят к медали. – Снайпер Митрохин, по кличке Метро, вынес на свет коптилок белую округлую подушечку, на которой были разложены ордена: «Знак Почета», «Дружба народов», Трудовое Красное Знамя. Их, разбросанных по полу, выпавших из разбитого ящика, подобрал снайпер, любовно уложил на подушечку, чистосердечно преподнес сержанту. – Ты заслужил, Клык, носи!..

Все молча смотрели на шелковые тусклые ленты, красно-серебряные награды, оставшиеся от неведомого жильца, чей дом был разбит прямым попаданием танка, чья длинная жизнь, проведенная в мирных трудах, завершилась среди гибнущего города.

– Нет, – сказал Клык. – Не заслужил... Не могу принять... Положи сюда аккуратно...

Не понимая до конца, в чем его ошибка и промах, Метро положил на ковер подушку между двух горящих коптилок. Ордена светились на подушке, словно где-то рядом, бездыханный, лежал их хозяин.

– Третий тост, мужики, не чокаясь. Хотя вроде и не то, что надо, налито. – Пулеметчик Мочалкин, по кличке Мочило, встал с ковра на коротких кривоватых ногах, поднял хрустальный, с красным напитком бокал. Все встали, отбрасывая на стены и потолки ломаные тени. Держали бокалы, в краткие секунды молчания поминая погибших товарищей.

Пушков, наступив ботинками на мохнатую бахрому ковра, глядя исподлобья на светильники, на ордена, на нетронутый красный бокал, прикрытый корочкой хлеба, вспомнил своих солдат, погибших во время штурма. Механика-водителя Савченко, чья веснушчатая рыжеволосая голова, похожая на лукавую лисью мордочку, высывалась из люка машины. Санинструктора Молчанова, что сутуло бежал среди рытвин, придерживая санитарную сумку. Автоматчика Хрусталева, медлительного деревенского увальня, сидящего перед печкой, брызгающего струйки солянки на сырые чурки. Он вспомнил их не убитыми, не лежащими на железном днище в санитарном транспортере. Не их открытые оскаленные рты и недвижные, полные слез глаза. А живые лица, которые улыбались, шевелили теплыми губами, моргали глазами. Взвод нес потери. Он, комвзвода, идущий в бой в первой линии, видел гибель каждого.



– Буду мстить «чечам» за наших парней!.. Мстил и буду мстить!.. – Клык упер в колени костяные кулаки, напряг под розовым халатом могучие плечи. Лицо его отвердело, в нем обозначились грубые стыки, ребра и плоскости, как сварные швы на броне транспортера. Он стал шарить глазами по стенам, отыскивая свой автомат, словно собирался немедленно пустить его в дело. И во всем его облике, минуту назад благодушном и размягченном, обнаружились жестокость и ярость. – Живыми не брать!.. В подвал гранату и очередь, а потом разговор!.. За ноги к бээмпэ, по городу потаскать, а потом разговаривать!.. Бабы у них как змеи и дети – змееныши! Зубами готовы кусать!.. Я бы войска назад отвел и атомную бомбу сбросил, чтобы от сучьего места яма осталась и русский солдат живой до дома дошел!.. Ненавижу!.. – Клык, состоящий из желваков, побелевших костяных кулаков, набрякших белков, освещенный злыми светильниками, сидел на расшитой подушке. Пушкин чувствовал его свирепую правоту. Эту правоту он подтверждал, когда бежал в атаку, уклоняясь от пуль, мягко кувыркался, пропуская над плечом пулеметную очередь, по-звериному плавно полз, проминая снег, всаживал разящие очереди, осыпая оконные стекла, вламывался в подъезды, пробивая мускулами тонкие перегородки, с косолапой верткостью бежал вдоль фасада, кидал гранаты в подвальные люки, ударами грязных подошв сталкивал с лестницы убитых бородачей, слушая костяные удары головы о ступени.

Теперь в этой комнате Клык в своей страстной ненависти был откровенен и прав. Выражал накопившееся у солдат угрюмое стремление подавить ненавистный город. Истребить несдающегося врага. Расквитаться не только за свои потери и муки, но и за всю унылую, годами длящуюся русскую жизнь, в которой чахли и страдали их родичи, беднели их деревеньки и городки, отовсюду, невидимые, не имеющие явных причин, сочились унижение и тоска. Здесь, в Грозном, люди терлись о шершавые фасады, ползли по колючей земле, обгорали в едких пожарах, и с них постепенно стачивалась тусклая короста уныния, пропадала неуверенность и печаль. Обнажалась глубинная, донная ненависть, до которой докопались в солдатах бородачатые боевики, оставляющие на путях своего отступления трупы оскопленных десантников, тела изнасилованных русских женщин.

– Ты мне вазу подарил, Косой!.. А ты бы мне лучше чеченские уши подарил!.. Чтоб я из них кошельков понаделал!.. Или на подошвы пустил!.. Дома в чеченских ботинках на свадьбе сплясал!..

Все соглашались, не возражали сержанту. Пушкин чувствовал в себе угрюмую жестокость, которая здесь, в Грозном, была слепым ответом на постылую гражданскую жизнь.

– Нельзя уши резать... Озвереешь... Детей и женщин жалеть надо... У них от горя глаза провалились. – Это сказал в тишине негромким печальным голосом солдат Звонарев, по прозвищу Звонарь, бледный, с вытянутым нездоровым лицом, на котором от забот и усталости пролегли тонкие преждевременные морщинки. Среди этих процарапанных линий, провалившихся щек, пороховых точек и мазков сажи сияли тихие голубые глаза, которыми он грустно и ясно обвел товарищей. Словно жалел их за ожесточение и очерствение душ, за единственную оставленную им свободу – убивать, умирать.

– Это что за каракатица слюнявая!.. – Клык изумленно посмотрел на Звонаря, посмевавшегося посягнуть на его превосходство. Замахнуться на его мудрость и первенство. Осудить перед товарищами в час его торжества. – Ты что, вонючих бородачей пожалел? Тех, кто пулю тебе в брюхо шлет? Кто твои кишки на кулак наматает? Выродков ихних жалеешь? Да они вырастут, к тебе в дом придут, твоих детей зарежут. Они кровной мстостью живут. Покуда их не выбьешь всех, до последнего грудного младенца, они тебя искать станут! И найдут, когда ты спать будешь!..

Клык был прав, солдаты с ним соглашались. С тех пор, как они оставили лагерь с брезентовыми шатрами, удобными землянками и вместительными окопами, с боевыми машинами, зарытыми в капониры, с банями, лазаретами и походными кухнями, с командирскими кун-

гами, над которыми поднимались штыри и сетки антенн, с тех пор, как ушли с черного, измятого колесами и гусеницами поля, похожего на пластилин, и стали вгрызаться в город, – в них, с каждой потерей и раной, нарастала ненависть к неутомимым чеченским стрелкам, которые, подобно духам, появлялись из пламени взрыва. Продолжали стрелять и тогда, когда их тело было продырявлено пулями. Бежали на оторванных ногах. И даже в смерти, бездыханные, наносили последний удар кинжалом.

Пушкова неприятно задела слова Звонаря. Их неуместность была подобна музыкальному звуку, случайно прозвучавшему среди визга и скрежета, как если бы кто-нибудь в клепальном цехе или у циркулярной пилы невзначай коснулся рояля. Чистый звук, печальный и искренний, взгляд голубых сострадающих глаз были помехой. Нарушали грубую простоту их солдатского праздника, которым они хотели укрепить себя перед боем.

– Мне людей жалко, домов жалко. Столько красивых домов разрушено. Люди их строили, украшали, мебель себе покупали. Хотели жить, семьи свои берегли. Ордена получали за хорошую работу. А теперь все горит... – Звонарь был один против всех. Навлекал на себя всеобщее раздражение. Возбуждал гнев Клыка, который тянулся к нему через коптилки, золоченые тарелки, объедки хлеба и сала. Хотел схватить за расстегнутый ворот, из которого тянулась худая длинная шея. Ударить в продолговатую голову с бледным лбом и чистыми синими глазами. Пушкова вдруг поразила их прозрачная чистота, незамутненная синева. Среди копоти, тусклой пыли, неверного колебания коптилок они одни сохранили цвет, похожий на тот, что бывает в вершинах мартовских голых берег.

– Ты что, с чеченами снюхался? У тебя родня – чечены? Может, перебежчиком станешь? В ихние банды наймешься? Может, они тебе хер обрежут и ты ихнюю веру примешь?.. – Клык жарко дышал сквозь мокрые зубы, презирал, издевался. Его огромный кулак тянулся к Звонарю. Был готов толкнуть к стене с прислоненными гранатометами и «Шмелями». – Тот, я смотрю, ты воюешь, как таракан недомеренный!.. В небо стреляешь, в ямках отлеживаешься!.. Ты почему гранату не кинул, когда магазин брали? Я тебе крикнул – в подвал гранату! А ты, сука, не кинул! Может, чеченку с ребеночком углядел?.. А оттуда очередь Хрусталева достало!.. Ты, гнида, виноват в его смерти!.. Поезжай теперь к нему в деревню с гробом, матери его расскажи, как ты другу своему пулю добыл!..

Неудержимое и безумное колотилось в огромном теле Клыка, подымало его с ковра, заносило над головой Звонаря стиснутый тяжелый кулак.

– Отставить!.. – Командирским рыком Пушкин закупорил бешеную, клочкавшую в Клыке ярость. Заставил его шмякнуться на подушку. Сержант схватил бокал, жадно, с хлюпаньем выпил. И пока Клык пил, двигал жилами, кадыком, небритым подбородком, Звонарь смотрел на него сострадающими глазами. Не обижался, жалел. Пушкин не умел разгадать причину этого сострадания, природу мартовского синего цвета.

Из комнаты были видны коридор, приоткрытая входная дверь, сквозь которую на лестничной площадке краснел костерок. Солдаты кипятили воду, подкармливали очаг обломками стульев, страницами разорванных книг, сухой трескучей фанерой от разбитых шкафов и комодов. Несколько рук с растопыренными пальцами грелось над красным пламенем. На стене шевелились рогатые тени.

– Хрусталева знал, что погибнет, – сказал Метро, переживший вместе со всеми эту внезапную ссору. Радовался, что она миновала и их тесный круг сохранился. – Он мне сказал, что потерял свою защиту. «Теперь, – говорит, – пуля меня найдет».

– Какая у него защита была? – спросил Мочило, трогая нагрудный карман, что-то нащупывая в нем сквозь жесткую ткань.

– Пуговица от материнского платья. Синяя, из стекла. Он ее в кармане носил. В баню пошел и, видно, выронил. Мы ее около бани искали. Должно, в грязь затоптали.

– А у тебя какая защита, Метро?

– Гребешок. Перед армией друг подарил. – Он вынул из кармана костяной гребешок с несколькими отломанными зубьями. Показал товарищам.

Те внимательно, не прикасаясь, рассматривали амулет, сберегавший жизнь Метро, с которым тот не расставался ни во сне, ни в бою. Брал его вместе с тяжелой снайперской винтовкой на позицию, перебегал вместе с ним под очередями, хранил в кармане, когда тащил на кровавом брезенте раненых. Тех, у кого не нашлось столь надежного амулета, как у него самого.

– А у меня заяц, – сказал Мочило, расстегивая карман, извлекая маленькую пластмассовую игрушку. – Сестра подарила. Сказала: «Бегай, как заяц, и прыгай в разные стороны. Никто в тебя не попадет никогда».

Солдаты серьезно рассматривали пластмассового волшебного зверя, сберегавшего жизнь пулеметчику, в которого летели гранаты и мины, посылая осколками землю вокруг заговоренного солдата.

– А у меня чайная ложка! – Ларчик вытащил из сапога алюминиевую чайную ложку с просверленной дырочкой, в которую был продет шпагат, прикрепленный к голенищу. – А у тебя какая защита, Клык?

Сержант еще сердился, сопел. Не смотрел на Звонаря, посмеявшего в день торжества пережить ему. Но гнев проходил, источался. Ларчик своим просящим вежливым взглядом выражал почтение, благоговейный интерес к его тайне. Клык по-прежнему оставался во взводе первейшим. Самым ловким, сильным, везучим. Подождал, когда все глаза обратятся к нему. Медленно расстегнул на груди рубаху. Вытащил на ладонь скомканную, смятую пулю, укрепленную на цепочке.

– Когда в микрорайон входили, она меня цапнуть хотела. В кирпич саданула. Теперь она как собачка. Сидит на цепи и другие пули отпугивает...

Все рассматривали смятую пулю, лежащую на скрюченной ладони Клыка. Слово кусочек металла был выхвачен из черного бездонного мира, где вращался по слепым орбитам. Солдаты рассматривали пулю, как астрономы изучают малый метеорит, несущий в своих формах сведения о жестоком космосе.

– Ну а ты, миротворец хренов? – Ларчик с грубоватой насмешкой обратился к Звонарю, подтрунивая над ним в угоду Клыку. – В чем твоя защита и оборона?

Звонарь стал расстегивать рубаху, осторожно выворачивая из петель пуговицы заостренными пальцами, когда-то нежными, розовыми, а теперь тускло-серыми, цвета спускового крючка. Пошарил за пазухой, втягивая грудь. Вынес из-под рубахи на свет маленький крестик, слабо сверкнувший в свете коптилки.

– Мама дала... Перед армией в церковь повела и купила...

Все смотрели на крестик, напоминавший малый резной листок. Ларчик удержался от шутки. Флакон протянул было руку, но не решился тронуть. Мазило одобрительно кивнул головой. И только Клык, пряча на груди пулю, сердито хмыкнул:

– Попик соломенный!..

Пушков вдруг испытал головокружение, подобное секундному обмороку. От усталости, от бессонных ночей, от теплого воздуха, прилетевшего с лестницы, где горел камелек, от дневного разрыва, ухнувшего перед самым лицом, он качнулся, переместился в иное время. Туда, где на светлой веранде гуляют полосы солнца, открыта большая книга, темнеют крупные буквы, нарядно пестреют картинки. И чей-то любимый голос читает знакомую сказку.

Солдатские амулеты, которыми сберегалась их молодая жизнь, были из этой сказки. Гребешок, если его кинуть через плечо, разрастался непроходимым бором. Синяя стеклянная пуговица разливалась широким озером. Убегавший заяц нес в себе утку, а та – заговоренную пулю. Все это волшебным прилетело из солнечной теплой веранды сюда, в замороженные развалины. Промерцало крестиком на закопченной ладони.

У Пушкива не было охранного амулета. Он носил на груди металлический военный жетон, на случай, если его обгорелые кости найдут в подбитой машине. Но в бумажнике, который никогда не брал с собой в бой, он хранил фотографию. Молодые мать и отец и он, еще мальчик, в саду на даче, под осенними яблонями со множеством золотистых плодов. Мама называла сад «райскими кущами». Это и был их рай, где им чудесно жилось. Иногда, очень редко, когда возникало пространство в душе, не занятое лазаретами, выстрелами и истошными криками, Пушкив доставал фотографию. Уносился в рай.

– Мужики, гляди, что нашел!.. – Флакон, покинувший было комнату, побродивший в потемках, вернулся, вынося на свет гитару, желтую, как дыня, слабо гудевшую в его цепких руках. – Может, кто сыграет, споет?

– Давай сюда!.. – приказал Клык. Принял гитару, положил на колени. Зарокотал, забренчал, подкручивая дребезжащие струны. Гитара, оглушенная бомбардировкой, расстроенная взрывной волной, хранила в своих хрупких перепонках удары танковых пушек, немощно постанывала. Клык сдувал с нее пыль, стряхивал с вялых струн больные неверные звоны, освобождал от окаменелого звука. Настроил, подбоченился, приподнял плечо в розовом махровом халате. Подмигнул всем сразу дико и весело. Погрузил толстую пятерню в струны, хватая их сильным грубым щипком, запел.

Губы Клыка, выговаривающие срамные, веселые слова, были мокрые. Глаз дико и весело мерцал под нахмуренной бровью. Плечо ухарски поднималось под махровым халатом. В голосе звучали повизгивающие, непристойные, бабьи интонации. Солдаты хохотали, ударяли кулаками в ковер, заваливались на спину, поощряли Клыка. А тот, подергивая под розовым халатом могучими плечами, поерзывал на подушке, подмигивал всем сразу и пел.

Мочило заливался, тряс руками, крутил головой. Флакон делал страшные хохочущие рожи. Косой счастливо скалил зубы, колотил себя по животу. Солдаты ахали, стонали, делали вид, что и у них в руках гитары и они бьют по струнам, выговаривают с повизгиваниями дикие срамные слова.

Пушков принимал эти срамные частушки, которые здесь, в разгромленном, отвоеванном доме, имели смысл заклинания. Были проявлением молодой, желающей уцелеть плоти, страшащейся рваного осколка, раскаленной пули, операционного скальпеля. Дикие, свирепые, разудалые слова отделяли живых от мертвых. Горячих, дышащих, поющих – от заледенелых и скрюченных на кровавых носилках, от задавленных бетонными перекрытиями, от обглоданных собаками, костенеющих в гнилых подвалах. Солдаты погружались в эти плотские, парные слова, спасались в них от черной, веющей за окнами смерти.

Клык отложил гитару. Радостный, раздобревший, всласть повеселивший товарищей, предлагал им продолжить потеху:

– Ну, кто сменит?.. У кого есть занозистей?..

– Дай мне, – попросил Звонарь.

Клык удивленно, неохотно передал гитару. Тот принял ее бережно, как ребенка. Сначала прижал к груди. Потом слабодохнул в нее, будто вдвухвал свою жизнь. Легонько, как живую, огладил, словно ждал, когда в ней пройдет испуг. Сбросил со струн несколько печально прозвеневших звуков. И вдруг всем показалось, что в гитаре, в ее темной глубине, затеплился мягкий огонь, просвечивал сквозь тонкое дерево, как светильник.

Пальцы Звонаря двигались осторожно и нежно, словно он перебирал не струны, а волосы ребенка. Звуки, которые влажно и сладко издавала гитара, прилетели в разгромленный дом из других пространств, где не было проломов в стене, осветительных желтых ракет, окровавленной амуниции, ожидания смерти. Солдаты, сидящие на замызганном ковре, минуту назад гоготавшие, жадно внимавшие срамным несусветным частушкам, вдруг изумленно утихли. На лицах у них появилась одинаковая печаль, будто они сожалели о чем-то несбыточном, что их миновало, случилось с кем-то иным в недоступной чудесной дали.

«Колокольный звон над землей плывет...»

Это была песня монаха, которую однажды слышал Пушкив в случайной московской компании, где звучал кассетник, молодые люди пили водку, рассуждали о религии, говорили о каком-то всемирном заговоре и одновременно ухаживали за хорошенькими смешливыми студентками. Тогда эта песня среди шумных, нетрезвых споров, двусмысленных шуток и женского смеха показалась Пушкиву неуместной. Теперь же он был ошеломлен и испуган первыми ее словами. В ледяном, гибнущем городе не существовало предметов и чувств, которым бы они соответствовали. Был поражен звуками голоса, ничем не напоминавшими хриплые приказы, остервенелые ругательства, вопли о помощи, сердитые переговоры по рации, истошные стоны. Был смущен видом бледного болезненного лица, которое вдруг осветилось, выступило из тени, приблизилось и укрупнилось, а остальные лица померкли и отодвинулись в сумрак. На этом бледном озаренном лице сияли большие синие глаза, в которые хотелось смотреть без конца.

Таково было первое впечатление от песни, что затянул Звонарь. Пушкиву казалось, что солдат взял его за руку, провел сквозь кирпичную стену и вывел наружу. И они, не касаясь земли, над искореженным железом, смятыми обугленными цистернами, взорванными поездами и упавшими в реку мостами стали уходить из несчастного города в чистые снега, над которыми плыли печальные сладкие звоны.

Этот худой, с болезненным серым лицом солдат, чья тонкая, еще детская шея вытягивалась из расстегнутого ворота и пальцы с обломанными ногтями, черные от царяпин и ружейного масла, перебирали струны гитары, был инок. Не в сером истертом бушлате, не в замызганных сапогах, а в черном до пят облачении, узком в талии, в островерхой бархатной шапочке. Клад поклон в том месте церкви, где из стрельчатого окна падал малиновый луч и вдали румянились волнистые голубые снега. В кудрявых дымах, в мерцаньях крестов, куполов туманился чудный город, нарисованный в книге, что лежала на их летней веранде. Пушкив изумленно глядел на солдата. Словно тот только что явился к ним во взвод, его не было во время недельных боев. Не было синих истовых глаз, высокого, взволнованно-чистого голоса. Он появился внезапно, сегодня. Был прислан к ним в штурмовую группу перед неведомым грозным свершением. Поет незнакомую дивную песню. Старается им объяснить истину, с которой явился. Но они не могут понять. Изумленные, слушают. Тревожатся от непонимания слов.

Гранатометы, огнеметы, прислоненные к стене автоматы со сдвоенными рожками. Ракетница, штык-нож, оббитый о камень бинокль. Заложный кирпичами оконный проем с амбразурой, в которую втиснут ствол пулемета с наборной латунной лентой. Гильзы с горящей солярой, разломанный шкаф в углу. Это их монастырь, братская тесная келья. Их привела сюда таинственная безымянная сила. Позвало неизреченное слово. Не взвод, штурмующий дом за домом, отупевший от залпов, озверевший от потерь и усталости, ненавидящий черный проклятый город. А молодые иноки, отрекшиеся от земной суеты, преображенные, вставшие на вечернюю службу, ждущие чуда в молитвенный час. Пушкив чувствовал это преображение, словно его нечистое потное тело под несвежей одеждой, с больными суставами, с синяком на плече омылось прохладной водой, задышало и побелело, стало стройней и легче. А душа, как мумия, закутанная в брезентовые оболочки, промасленная, пропитанная горячей нефтью, ослепшая от гнева, оглохшая от рева орудий, выскользнула из утомленной плоти. Прозрачная, бестелесная, не касаясь босыми стопами земли, стоит на воздухе перед синими очами. Вопросы, ждет обещанную ей благодать.

Долгожданное, как блеск небесного света, откровение. Острое, слезное прозрение в счастье, в любви. Русская красота, необоримость, таинственная сила, соединившая их всех в этом черном расколоте доме. Родина, ненаглядная, страдающая, собрала их по городкам, деревенькам. Посадила в длинный замороженный эшелон с притороченными к платформам боевыми машинами. Поселила среди голого чеченского поля в брезентовых островерхих шатрах.

Направила в туманный город, куда с воем над их головами полетели снаряды «Ураганов» и дальнобойных «Гвоздик». И их первая потеря среди заводских окраин, бетонных заводов и складов. Механик-водитель Савченко, рыжий, остроносый, как лисичка, лежал на носилках, и в вывернутых кровавых карманах залипла конфета. Россия, война, солдатские галеты, банка пролитого йода, пикирующий с высоты вертолет, вонзающий колючие стрелы в крышу горящего дома, и этот бледный синеглазый солдат уверяет их, что Россия жива, что все они – ее сыны и солдаты и каждая их жизнь или смерть у нее на устах, в ее чудных синих очах. Оплаканы ею и воспеты.

Пушков не улавливал до конца содержание песни, но ее сладостные певучие рокоты, длинные звучания порождали в нем особые переживания, открывали особый смысл. Этот смысл убеждал его, что они не забыты, не брошены в этом истрелянном снарядами доме. Видны из всех концов многострадальной любимой земли. Их самодельные коптилки, стертая белесая сталь оружия, кусок грязи на сапоге Мочилы, красная царапина на кулаке Флакона видны в нарядной ночной Москве, разукрашенной цветными рекламами, в блеске драгоценных витрин, с бесконечными бриллиантовыми огнями пролетов машин. Видны в крохотных городках, затерянных в зимних лесах, где желтое оконце бессонно горит в ночи и мать Клыка достает из шкафа его детскую рубашку, целует ее и плачет. Они все на виду, на учете, под любящим молитвенным взглядом белобородых стариков, которые знают все наперед. Кто завтра добежит до соседнего дома, ворвется на его этажи, а кто останется лежать на снегу у черного расщепленного дерева, сжимая в пальцах тающую красную горсть.

Пушков знал, что его сберегают, молятся о нем. Все они, охраняемые постами, стволами пулеметов, минными растяжками, были под незримой охраной чьей-то далекой молитвы.

Нету смерти, нету конца дней, нету страха боли и сумеречности. А есть бесконечная жизнь, осмысленная, одухотворенная, среди милых и близких, неизбежная встреча с ними. Кончится штурм, остынут развалины, останутся позади подорванные и сожженные танки, рухлые могилы и угрюмые взгляды врагов. Будет теплый июльский вечер, когда они встретятся в любимом саду. Мама, молодая, красивая, в розовом сарафане, принесет самовар. Отец, загорелый, веселый, подымет на сильных ладонях красный тяжелый чайник, плеснет в стаканы черно-золотую заварку, подставит под булькающий кипятилок. Сквозь ветви яблонь – синее близкое озеро, медленная темная лодка, стеклянный след на воде. К ним в застолье придет его взвод, все живые, степенные, разливают в блюдечки чай, поддевают ложкой варенье. И лежат на скатерти, у хрупких фарфоровых чашек, костяной гребешок, пластмассовый заяц, синяя стеклянная пуговица, расплюснутая пуля, малый серебряный крестик, сохранившие их среди атак и смертельных ран.

Пушков очнулся. Звонарь пел о себе. Готовил себя к чему-то, о чем уже знал. К тому, что витало над ним среди темных развалин. Сделало его избранником среди всех здесь сидящих. Этот юноша с бледным лицом и тонкой торчащей шеей, смиренный, безропотный, был отмечен. Удалялся от них в свой отдельный и грозный путь. Еще находился здесь, среди горящих коптилок. Но его уже уносило, удаляло, и не было сил удержать. Пушков в своем прозрении, в своей внезапной догадке хотел обнять его узкие плечи, прижать к груди, нахлобучить на него каску, навьючить бронежилет, спрятать под броню в боевую машину, отправить в тыловой лазарет на краткое лечение и отдых. Вымаливал его у кого-то неколебимого. Заколдовывал, останавливал время, чтобы замерли стрелки в тикающем будильнике, окаменело и перестало качаться пламя коптилок, не мигали на солдатских лицах глаза, не шевелились поющие губы, с каждым словом выговаривающие для себя грозное неотвратимое будущее. И такую любовь к Звонарю, такую немощь и бессилие испытал Пушков, что глаза его затуманились и он отвернулся к стене, где стояло приготовленное к бою оружие.

Звонарь умолк, отложил гитару. Она медленно затихала. В ней угасал светильник. Все сидели, слушали, как, расширяясь, подобно кругам на воде, расходится по комнате звук. Молча



вставали, разбредались по углам, где были навалены матрасы, одеяла, занавески, подушки. Укладывались спать, навьючивая на себя сырую, плохо греющую ветошь. Звук гитары сквозь множество проломов и трещин вытекал из комнаты, таял в ночи. Далеко и гулко ухнула бомба, и близко, вслед за ней, рассыпалась злая очередь.

Солдаты ворочались, кашляли, бормотали во сне. Пушков обошел позицию, проверяя посты в подъездах дома, на лестничных клетках. Притаившихся снайперов, неподвижных наблюдателей. В черно-белом ночном дворе разглядел размытые продолговатые пятна боевых машин пехоты, которые перегнали ближе к рубежу обороны, спрятали среди заборов и стен, укрывая от шальных чеченских гранатометчиков. Завтра, когда пехота пойдет в атаку, машины из развалин станут поддерживать ее огнем пулеметов и пушек. Он нашел радиста перед рацией с красной ягодкой индикатора. Ротный не выходил на связь, отдыхал в соседнем доме, забравшись в спальный мешок. Эфир был свободен, и среди электрических разрядов и тресков на частоте штурмовой группы развлекался скучающий чеченский радист.

– Ты, русская собака, приходи в гости, я тебе яйца отрежу... Медленно буду резать, аккуратно, чтобы ты в пакетик сложил, домой своей девке отправил... Скажи, привет от Фазиля... Пусть приезжает в Грозный, я ее вместо тебя трахать буду...

В ответ звучал голос ротного радиста, довольного тем, что в скучный час долгой ночи нашелся для него собеседник:

– Фазиль, ты или хер собачий, ты почему уши не моешь?.. Сколько я у чеченцев ушей отрезал, и все немые... Ты их хоть кирпичом потри или в солярку макни... А то режешь, а они как резиновая подметка...

– Эй, собака, закурить есть?.. А то «Мальборо» кончились...

– А ты, хер, фонариком помигай, я тебе из «Шмеля» прикурить дам...

Пушков испытывал беспокойство и неясную печаль. Не мог забыть песню, которую пел Звонарь. Беспокойство и печаль были связаны с тем, что его, Пушкова, жизнь, протекавшая среди гарнизонов, учений, беспросветных казарменных будней, а потом здесь, в Грозном, среди ежедневных крошечных боев, таила в себе загадочную возможность. Таинственную глубину, которая оставалась непознанной, нераскрытой, заслонялась усталостью, ненавистью, непрерывной военной заботой. Как если бы он мчался в черном грохочущем туннеле с проблеском молний, вспышками металла, но знал, что где-то в бетонной стене существует потаенная дверца. Соскочишь с грохочущей платформы, нырнешь в дверцу, и вдруг окажешься в чистом поле, среди тонких прозрачных трав, в которых нежно поет незримая птица. Эта постоянная двойственность томила его, заставляла думать, что он проживает одновременно две жизни. Одну явную, состоящую из взрывов, криков боли и ненависти. Другую тайную, из нежности, печали, любви, где ожидало его чудо. То ли встреча с любимой женщиной, которой у него не было, то ли свидание с матерью в заповедном райском саду, куда они после взятия Грозного приедут с отцом.

Отец, воевавший с ним рядом, был ему опорой, подмогой. Они редко виделись. Их разделяли дымящиеся кварталы, минные поля, туманные от гари площади. С передовой, которая, как кромка фрезы, врезалась в город, он не мог дотянуться до штаба, где работал отец. Но чувствовал его волю и мысль по приливам и отливам штурма, темпам наступления, замедлению и убыстрению атак. По прихотливому изгибу передовой, которая то накатывалась на городские кварталы, раскалывая коробки домов, то отступала, оставляя после себя дымящиеся пожары.

Теперь, стоя у замороженной кирпичной стены, глядя на открывшееся в небесах морозное небо, он нашел в нем две близкие яркие звезды. Одну большую, лучистую, среди синей прозрачной тьмы. Другую, поменьше, в розоватом дыхании. Смотрел на звезды и думал, что одна из них – это отец, а другая – он, сын.

Нужно было укладываться, залезть в спальник, натянув сверху стеганое одеяло с торчащей обгорелой ватой. Забыться чутким сном, сквозь который он будет слышать каждый метал-

личный выстрел пушки, каждую близкую очередь. Чтобы в утренних сумерках натянуть на себя бронежилет и каску, подхватить автомат и, пропуская вперед солдат, спуститься в подъезд с оторванной дверью, за которой тускло синееет снег и чернеют корявые расщепленные деревья.

Перед тем как лечь, лейтенант Пушкин захотел еще раз осмотреть улицу, по которой завтра пойдет в атаку. Перешел на противоположную сторону дома, к окнам, обращенным к неприятелю. Осторожно, виском и глазом, выставился из-за кирпичной кладки. Мутно темнел сквер. Из-за крыши противоположного дома неслышно летели красные трассеры. На окраинах качались два далеких пожара, отражаясь на тучах малиновым заревом. Взлетела осветительная ракета. Повисла, как оранжевая звезда. Озарила фасады с черными проломами окон, дыры и вмятины от пуль и снарядов. Длинную, запорошенную снегом улицу усыпали обломки кирпичей, комья мерзлой земли, вокруг которых лежали лунные тени. Убитого чеченца не было. Не было следов и тех, кто унес тело. Быть может, чеченец ожил и, не касаясь земли, выставив темную бороду, в своем камуфляже ушел по воздуху в мертвенно-серое небо. За облака, сквозь едкий зловонный дым и пламя пожаров, туда, где в бесконечной лазури, удаленный от черных развалин, белел чудесный город.

## Глава вторая

В окрестностях Грозного, в Ханкале, среди огромного пустынного поля стоят шатры. Островерхие, брезентовые, с дымами, кострами, с чашами и штырями антенн. Окружены сырыми рвами, окопами, врытыми в землю танками. Палатки, запорошенные снегом, сыпят искры из железных печек. Мешаются с полевыми кухнями, банями, походными лазаретами, горбатыми грязно-зелеными кунгами. Кажется, в эту зимнюю чеченскую степь из низкого неба опустился перепончатый громадный дракон. Впился стальными когтями в землю. Выставил вверх колючие шипы и клыки. Свил кольцами чешуйчатый хвост. Скрежещет, шевелится в вязкой, как пластилин, земле. Оставляет клетчатые отпечатки, ребристые следы, рваные рытвины. Штабы полков и бригад, тыловые службы, управления разведки и связи, столовые, нужники, дровяные склады, солдатские палатки, посты – все перемешано, сбито, тонет в липкой грязи, по которой пробирается горбатый дымный «Урал», продавливая клетчатую колею, мчится заостренная, как топорик, боевая машина пехоты. На броне, в обнимку с пушкой, зачехленный в черные маски, угнезвился спецназ. Солдаты пилят дрова. Свистит солярка, нагревая банный котел. Садится вертолет, взметая ошметки бурьяна. Бегут из-под винтов, придерживая шапки, офицеры связи. Два других вертолета, в блеске кабин, с подвесками ракет и снарядов, совершают облет территории. Сближаются, как две тусклые стрекозы. Расходятся в стороны, и один идет над насыпью с мертвым, без тепловоза, составом, другой скользит вдалеке, просматривая арыки и лесозащитные полосы. В сердцевине тесного разношерстного лагеря, как княжеский терем, окруженный посадами, слободами, непролазным частоколом и рвом, спряталась ставка командующего. Самоходная гаубица под маскировочной сеткой. Бойница с ручным пулеметом. Мачта с антеннами. Штаб группировки, управляющий штурмом Грозного.

В просторной штабной палатке с ровно шумящим калорифером на широком столе, под голыми яркими лампами была постелена карта Грозного. Красные стрелы ударов, синие овалы и линии воспроизводили картину штурма. Направление атак, расположение укрепрайонов, численность чеченских отрядов и имена полевых командиров, защищавших город. Перед картой стояли генералы в полевой пятнистой форме, не обращая внимания на позвякивание телефонов и бульканье рации. Смотрели на пятнистую, из множества разноцветных крупниц составленную карту. Так выглядит керамическая чашка, на которую наступил тяжелый сапог, превратил ее в скопление мелких осколков, впечатал в землю.

– Не подумайте, Геннадий Николаевич, что я тороплю вас или недоволен темпом наступления. Но мне кажется, при определенных условиях мы бы могли завершить операцию ко дню нашего военного праздника. Это было бы правильно понято в войсках. Правильно понято народом. Правильно понято и оценено Верховным. – Так говорил командующий группировкой, генерал-полковник, широкоплечий, грузный, с крупным лысеющим черепом, тяжелыми, медленно шевелящимися губами, остро взглядывая на генерала с двумя зелеными неброскими звездами, руководящего штурмом. Генерал-лейтенант, невысокий, бодрый, с крепким носом и подвижным ртом, еще не остыл от доклада, сделанного перед картой. Сжимал пластмассовую указку, которой только что энергично водил по карте, рассекал ее на ломти, протыкал острием укрепрайоны, делал круги и завихрения в воздухе, изображая маршруты штурмовых групп и пути отхода противника. Третий генерал, с одной зеленой полевой звездой, самый молодой, сутулый, по-медвежьи упругий и крепкий, напоминал штангиста, готового нагнуться и ухватить лежащую перед ним штангу. Генерал-майор молчал, ревниво слушал разговор, не принимая в нем участия. Он руководил войсками, которые бились в горах, оттесняя чеченцев в глубину засыпанных снегом ущелий. Главная часть группировки была скована боями в Грозном. Ему в горах не хватало войск, не хватало артиллерии, не хватало десантных и штурмовых вертолетов. Все внимание Москвы, политиков, журналистов было привязано к Грозному. Он

ревновал к своему талантливому удачливому товарищу, на котором сосредотачивался острый интерес публики, за которым неотступно следили бесчисленные глазки телекамер, который ежедневно на фоне развалин илидвигающихся военных колонн давал по телевизору короткие бодрые интервью.

– Еще раз повторяю, Геннадий Николаевич, не тороплю, боже упаси. Берегите людей, не жалеите снарядов. Но было бы правильно, если бы в Кремле в день праздника мы смогли доложить стране о завершении Грозненской операции.

– Уложимся, товарищ командующий, – энергично успокаивал генерал-лейтенант, неуловимым мерцанием зрачков приглашая к разговору своего начальника штаба, молча внимавшего командирским разговорам.

Тот чутко и тонко улавливал не высказанные командующим опасения, тайные упования и надежды, которые связывались с победным окончанием кампании. Это были надежды на высшие награды, на повышение в званиях, на стремительный взлет карьеры. Министр обороны, «шелестящий маршал», как его называли в войсках, был стар, бездеятелен, откровенно не любим армией. Назначенный на должность прежним главой государства, находясь постоянно рядом с опустившимся, больным президентом, он имел репутацию раболепствующего царедворца. Олицетворял распад и гниение, охватившие страну, поразившие армию. Новый, на глазах рождавшийся президент, обязанный своим восхождением победоносной чеченской кампании, зависел от них, генералов, рассматривающих карту Грозного. Зависел от победоносного завершения штурма. От сроков победы, которая должна была случиться накануне выборов. Вдохновленный победой народ должен был избрать своего любимца, победоносного президента. Командующий, «покоритель Кавказа», после отставки нынешнего министра рассчитывал на министерский пост. Созвездие молодых генералов, победителей в чеченской войне, стремительно с полей сражений выдвигалось на первые роли в Генеральном штабе, в Министерстве обороны, в военных округах. Эти мысли читались на тяжелом, губастом лице командующего. Они были их общими мыслями. Объединяли их в нерасторжимое целое, не исключавшее внутреннего соперничества и ревности.

– Противник стремительно теряет боевой дух, товарищ командующий. Утрачивает способность координировать оборону. Мы продолжаем рассекать его главные силы, отрезаем их от основных городских коммуникаций. У них уже не хватает боеприпасов и живой силы. Думаю, еще несколько дней, и противник будет опрокинут. Еще бы погодка не подкачала! Авиация бы нас поддержала!

– Главная погода в Москве. Там бы она не испортилась. – Генерал-майор произнес эти слова с угрюмо-ворчливой интонацией, которая едва скрывала его досаду. Не он, а его удачливый соперник добивал врага в поверженной столице. Не его десантники, мотострелки и морские пехотинцы пробивались к дворцу Масхадова, чтобы водрузить штурмовой флаг на сгоревшем фасаде, оставить на обугленном портале залихватские, весело-скабрезные надписи, как на стенах рейхстага. Он не мог утаить свою досаду, маскировал ее плохо скрываемой, ворчливой интонацией. – Как бы нас опять не остановили, из-под носа не утянули победу.

Командующий, не меняя выражение тяжелого, утомленного лица, быстро и весело взглянул на генерала, угадав его ревнивое чувство. Соперничество двух его подчиненных, их состязательность, жадное вкушение славы, неутолимое желание отличиться, обойти соперника были благодатной основой, которая позволяла командующему управлять обоими. Сталкивать и разводить их честолюбия. Поддерживать в них постоянную одержимость. Двигать их параллельными путями, в разных районах Чечни, к общему победному финалу. Война, которую они вели, была изнурительной и тяжелой, на пределе сил истощенной страны и армии. Требовала от командиров избытка энергии, которую он, командующий, вселял своим подчиненным, тонко управляя их тщеславием и гордыней.

– Нет, Владимир Анатольевич, на этот раз предательство никак невозможно. – Командующий боднул воздух лобастой головой, похожий на сердитого быка, саданувшего рогом забор. – Не те времена, другой Верховный. Той власти, чтобы ей удержаться, необходимо было поражение. Этой власти нужна победа. Тогда, в той чертовой первой войне, мы с вами были генералами поражения. Теперь мы станем генералами победы.

Они молча стояли над озаренной картой Грозного, напоминавшей раздавленный узорный сосуд. Этой бумажной карте, раскрытой под брезентом штабной палатки, соответствовал ночной удаленный город, в котором в эти минуты шли непрерывные ночные стычки. Перемещались невидимые пулеметчики и снайперы. Действовали минеры, устанавливая фугасы на путях завтрашнего продвижения войск. Наталкивались друг на друга группы разведчиков, вступая в короткие злые перестрелки. Внезапно взрывался дом от попадания ночной тяжелой бомбы, превращаясь в красный, изрыгавший копоть и пламя взрыв. Генералы смотрели на карту и единым взором прозревали три наложенные одна на другую реальности. Клетчатую разрисованную бумагу, похожую на отпечаток огромного пальца. Ночной угрюмый город, наполненный притаившимися, ненавидящими друг друга врагами. Белоснежный Георгиевский зал Кремля с алмазными люстрами, золотые надписи на мраморных стенах, и они, генералы, любимцы народа, в сияющих орденах и погонах, поднимают за победу бокалы шампанского.

– Та сволочь, что нам мешала на прошлой войне, она вся на местах, рядом с Верховным, – упрямо и зло повторил генерал-майор. – Шепчет ему на ухо. На телевидение такие передачи пускает, что народ от тоски выть начинает. Опять мы, генералы, похожи на горилл узколобых. Опять бедненькие чеченцы и русский солдат-кровопийца! Дали бы волю, я бы этих долбанных олигархов и депутатов картавых подарил Басаеву, чтобы он их на цепи подержал. А потом бы у них взять интервью, если им до этого языки не отрежут.

– Нет, – убежденно сказал командующий, – предательство невозможно. Верховному верю. Он сам офицер, армию понимает и любит. Если армия знает, что ее любит Верховный, что ее любит народ, она воюет и побеждает. Погодите, эта сволочь уйдет. Мы, военные, в политике не все понимаем, хотя много и чувствуем. Можно одно сказать: у России появился хозяин, у армии появился Верховный.

Генералы молчали, не желая вслух высказывать свои подозрения, свою веру, свое понимание невидимых московских интриг, где сталкивались кланы, боролись банки и корпорации, рушились и возносились карьеры, взрывались дома в Москве, двигались по чеченским дорогам военные колонны и в моздокском госпитале раненный в печень десантник матерился под капельницей.

– Ну что ж, – командующий испытующе осмотрел своих подчиненных, словно желал убедиться в их верности, надежности, готовности вместе идти до конца, – теперь давайте послушаем, как продвигается операция «Волчья яма». Удастся или нет наша хитрость... Назаров! – крикнул он порученцу в соседний отсек палатки. И когда тот возник неслышно, словно прошел сквозь брезент, командующий приказал: – Зови начальника разведки. Пусть доложит!.. А вы начнете! – кивнул он начальнику штаба.

Начальник штаба был статный молодой генерал, румяный, с пышными усами, под которыми едва заметно улыбались сочные губы. Казалось, эти губы и пышные ухоженные усы были созданы для застолий, для витиеватых тостов и радостного хохота, анекдотов и шуток, вкусной еды и питья. Его карие, влажные, слегка навывкате глаза доброжелательно и спокойно рассматривали начальников, разложенную вафельно-пеструю карту, голые электрические лампы и позвякивающие на отдельном столике телефоны. При взгляде на него казалось, что он оценивал свое пребывание здесь, в Ханкале, в полевых условиях как временное неудобство, которое рано или поздно кончится и он вернется в привычный для него комфорт и приятное общество, где чистая одежда, вкусная еда, дорогой одеколон и сигареты снова станут доступными и естественными. Это впечатление было обманчиво.

Две недели назад вертолет, на котором он облетал позиции, был сбит. Экипаж погиб, а начальник штаба с поломанным ребром целый час отстреливался из короткоствольного автомата от наступавших боевиков, пока не подоспел отряд спецназа. Теперь под мундиром все еще сохранялись повязки. Он избегал резких движений, чурался рукопожатий. Не спал от болей.

Вошедший в палатку полковник, начальник разведки войск, штурмующих Грозный, был высок, худ, с бледным утомленным лицом, на котором жестко топорщились короткие офицерские усы и тревожно светились запавшие большие глаза. Волосы его начинали седеть, на широком лбу пролегли первые тонко прочерченные морщины, и казалось, вся его воля была направлена на сбережение оставшихся сил, на их разумное расходование, что позволило бы выполнить до конца крошечную, выпавшую на его долю работу. Он был сосредоточен, напряженно смотрел на карту, удерживал в голове множество упорядоченных сведений, которыми по первому требованию был готов поделиться с начальством. Днем с группой спецназа на бэт-эрах он исследовал берег Сунжи, вдоль которой, как предполагалось, станут прорываться из Грозного остатки отрядов Басаева. Вечером перед вызовом в штаб изучал радиоперехваты, стараясь из косноязычных текстов, из намеков и кодов, из полупонятных словосочетаний выудить сведения о перемещениях боевиков, об их намерениях и боевом духе. Ночью после доклада командующему ему еще предстояли встречи с агентурой, вернувшейся из расположения боевиков, допрос пленного, захваченного спецназом.

– Итак, прошу доложить, как реализуется секретный план, – строго воззрился командующий. – Как вы копаете «Волчью яму»?

– Докладываю, товарищ командующий. – Начальник штаба бодро взял указку, но действовал ею осторожно, скрывая уколы боли. – Стыки в обороне полков обозначены... На стыках до предела снижена боевая активность... Методами ложного радиообмена противнику внушается мысль о том, что в обороне существуют бреши, пригодные для прорыва... Выбраны два коридора, исходя из расположения основных частей противника и направления наших штурмовых ударов... Северный коридор, через Старопромысловский район, маловероятен для прорыва, ибо удаляет противника от горной части Чечни, куда, по всей видимости, стремится уйти Басаев... Юго-восточный коридор, через Заводской район, по берегу Сунжи, в направлении Алхан-Калы, предпочтительнее...

Командующий сощурил глаза, потянулся к карте, словно чутко, по-звериному ловил тонкие, приносимые ветром запахи. Во всей его отяжелевшей грузной фигуре обнаружилась молодая хищная сила. План, о котором шла речь, родился в его голове. Выманить чеченцев из осажденного города. Открыть их отрядам, изнуренным в боях, пути отхода. На стыках полков, сжимавших кольцо обороны, обозначить мнимые коридоры, куда заманить врага. Город, оставленный бандами, будет взят в короткие сроки. Прекратятся потери. Прекратятся изнурительные нападки прессы на воюющих генералов. Занятые в штурме войска будут переброшены к югу, в горы, на усиление группировки, добивающей чеченцев в Аргунском ущелье. Отряды Басаева, покинувшие позиции в городе, оставят укрепрайоны, огневые точки, амбразуры. Окажутся в открытой степи. Попадут в огневой мешок, сядут на минное поле, будут уничтожены.

– Удалось установить агентурный контакт с Басаевым? – Командующий повернулся к начальнику разведки, и в повороте его тучного немолодого тела обнаружилась пружинная гибкость и легкость.

План, который родился в его голове, был хитроумной находкой охотника. Среди стратегических расчетов, приказов на применение вакуумных бомб, тактики уличных боев, медленной, изнурительной технологии, согласно которой войска вторглись в Чечню и, как ленивая лава, двинулись по равнине, растягивая коммуникации, протаскивая колонны с горючим и боеприпасами, занимая города и селения, окружая их позициями гаубиц, вертолетными площадками, лагерями полков и бригад, – план, родившийся в голове генерала, был древним, простым и извечным. Изобретением ловца и охотника. Радовал, веселил, затрагивал глубин-



ную страсть игрока и добытчика, чувствующего живую психологию противника, его повадки и нрав. Делал войну не просто тупой инженерной машиной, слепо перемалывающей города и селения, а страстным живым соперничеством врагов, их воли, ума и коварства.

– В окружении Басаева есть люди, с которыми устанавливается связь. – Начальник разведки, которому был доверен общий план операции, разрабатывал его детали, прочерчивал его контур, оснащал подробностями, создавая из грубого торопливого подмалевка тщательно нарисованную картину. Автором замысла был командующий. Тонким стилистом и исполнителем был начальник разведки. – Басаеву станет известно, что один из офицеров штаба за немалые деньги, сто или двести тысяч долларов, покажет безопасный проход. Басаев, несомненно, станет шупать коридоры, посылать группы разведки. Мы обеспечим сравнительно беспрепятственный проход этих групп. Радиоперехваты свидетельствуют, что Басаев и другие командиры близки к тому, чтобы принять решение на прорыв. Мы подтолкнем его к этому решению. Мы подбираем офицера, который сделает Басаеву выгодное денежное предложение.

– Басаев – чуткий и осторожный зверь. Он-то и есть настоящий волчара!.. – Командующего раздражали простота и спокойная отточенность, с которой докладывал начальник разведки. – Он, как волк, учует железо капкана и не наступит!.. Его надо усыпить, обмануть, отвлечь! Он за версту угадает подвох!.. Он столько раз выходил из смертельного кольца в Абхазии, в Буденновске, в Ботлихе!.. Он – заговоренный, зверюга!.. Его не берет ни пуля, ни бомба, ни сверхточная ракета!.. Надо досконально знать все его повадки, все норы, все звериные тропы! Надо знать, как он рвет горло жертве!.. Как слизывает кровь с губ! Где закапывает кость!.. Я его, волчару, добуду!.. Я с него шкуру сдеру, постелю у порога и ноги вытирать стану!.. За Буденновск, за русских беременных баб, за майкопскую бригаду, за поруганную русскую честь!.. Я его, курву, достану!..

Командующий преобразился от ненависти. Лицо его помолодело и разругалось, как на морозе. Глаза, обычно сощуренные, прикрытые мохнатыми бровями, раскрылись. Были синие, яркие, гневные. Он легко поворачивал могучее натренированное тело. В его движениях появилась ловкость ставящего петли ловца. Угадав впечатление, которое он производил на присутствующих, ненавидя, веселясь, зная коварную силу и вероломство противника, сознавая свое над ним превосходство, он произнес:

– Как там в басне Крылова? «Ты сер, а я, приятель, сед...» Вот мы и столкнем его, зверюгу, в волчью яму!..

– Чтобы не было утечек, Анатолий Васильевич, – генерал-лейтенант, штурмующий Грозный, наставительно и одновременно с едва заметной симпатией обратился к начальнику разведки, – минимум посвященных.

– О плане в целом знаем только мы, здесь присутствующие, – сухо ответил полковник. – С командирами полков работают мои люди, не посвященные в операцию. Агентурный контакт проходит под моим личным контролем. Хочу повторить, товарищ генерал, что следует усилить давление на противника в направлении от центра к Заводскому району, побуждая его идти на прорыв.

– Давление будет усиливаться. Сегодня мы взяли четыре дома, дошли до сквера, – генерал-лейтенант повернулся к командующему. – Завтра, я полагаю, будет взят еще один жилой дом и Музей искусств... Ведь там у вас, на этом направлении, сын воюет... – Генерал-лейтенант обратил эти слова к полковнику, неумовимо выражая свое сочувствие, благодарность, уверенность, что не случится беды. – Все у него нормально?

– Так точно, – сухо ответил полковник.

Они стояли над картой. Город был похож на лист лопуха, в котором истлела живая ткань, но сохранились бесчисленные омертвевшие сосуды и жилки. Сквозь город, напоминая стебель мертвой ботвы, извивалась Сунжа. Через предместья и окраины река истекала на равнину. Вдоль Сунжи, мимо нефтехранилищ, стальных резервуаров и башен, на стыке пер-

вого и десятого полков, готовился коридор. Создавались подразделения быстрого минирования. Выстраивались огневые точки – пристреливались цели. Сосредотачивались минометные и артиллерийские батареи. Сюда, на этот заснеженный берег, вдоль медлительной черной воды, выманивался Басаев. Выдавливался штурмовыми группами. Вытеснялся артналетами и бомбардировками. Тонко высвистывался манками ложных радиообменов и агентурных донесений. Начальник разведки рассматривал карту города, держа в сознании множество данных и сведений, наименований и чисел, кодов и позывных. И среди этой многомерной, напоминающей голограмму картины присутствовала драгоценная, живая ее сердцевина – его сын, командир взвода, находившийся вместе со своей штурмовой группой в районе сквера, неподалеку от Музея искусств, который завтра предстояло атаковать в интересах разведоперации.

– Ну что, – командующий громко хлопнул сильными белыми ладонями, – перейдем к последней и самой приятной части нашей программы!.. Поздравим Владимира Анатольевича с днем рождения!.. – Он приобнял генерал-майора, его сутулые крепкие плечи и громко позвал порученца: – Назаров!

Тот вырос из-под земли, и командующий, пародируя героя сказки про скатерть-самобранку, шевеля в воздухе растопыренными пальцами, сказал:

– Сообрази нам, Назаров, что-нибудь эдакое!.. По случаю дня рождения Владимира Анатольевича!..

– Есть коньячок дагестанский, осетринка!.. – с веселой готовностью сказочного молодца отозвался порученец.

– Ну и неси что Бог послал!

– Прикажете рюмки или фужеры?

– Да хоть и фужеры!.. Лишь бы не проливалось!..

Казалось, порученец отсутствовал секунду. Появился с подносом, на котором стояла толстобочная бутылка коньяка, тарелка с лепестками рыбы, пять круглых фужеров и маленькие серебряные вилочки. Ловким жестом любезного официанта поставил поднос на стол рядом с картой.

– Прикажете разлить, товарищ командующий? – И, дождавшись кивка, с наслаждением стал наполнять фужеры светящимся золотистым напитком.

– Дорогой Владимир Анатольевич! – Командующий, не прикасаясь к фужеру, лишь весело поглядывая на стеклянный золотистый сосуд, обратился к имениннику, который, ожидая поздравлений, взволнованный и серьезный, вытянул руки по швам. – Ты встречаешь свой день рождения не в кругу семьи, а на поле боя, в кругу боевых товарищей, как и следует настоящему воину. Тебя любят солдаты, уважают офицеры и боятся и ненавидят враги. Где появляешься ты с войском, там земля горит под ногами бандитов, там русский солдат одерживает победу. Пожелать тебе храбрости?.. Ты и так храбр и отважен. Пожелать здоровья?.. Ты и так, слава богу, неутомимый, двужильный... Желаю, чтобы тебя не оставляла удача. Чтобы ты всегда был среди первых. Чтобы мы, генералы чеченской войны, всегда были вместе. Ибо вместе мы – великая сила. Мы еще послужим армии, послужим России. А чтобы ты, Владимир Анатольевич, помнил этот свой день рождения, который празднуешь в Ханкале, делаю тебе этот подарок! – Командующий шагнул в сторону, к табуретке, накрытой куском чистой материи. Откинул холщовую ткань. Извлек на свет кривую восточную саблю в узорных серебряных ножнах. Протянул генерал-майору. – Трофей! Из личной коллекции Масхадова!..

Именинник радостно принял саблю. Держал ее на свету, жадно оглядывая черное серебро, перламутровые инкрустации, арабские витиеватые надписи, среди которых сияли сердолики, яшмы и ониксы. Вытянул лезвие, на котором зажглась голубая слепящая молния. С легким звяком вогнал клинок обратно в узорные ножны.

Чокнулись, выпили, заедали коньяк осетриной. Смотрели на саблю, которая лежала на карте, пересекая город с юга на север.

– Разрешите тост, товарищ командующий? – Генерал-лейтенант, дождавшись благодушного разрешающего кивка, обернулся к боевому товарищу. Их глаза твердо и зорко встретились. В них было все то же соперничество, тайная ревность, но и солидарность боевых генералов, добывающих одного и того же врага, чистосердечное любование друг другом. – Володя, хочу тебе пожелать настоящей русской генеральской славы!.. Хочу, чтобы эта слава была не меньше, чем слава Ермолова, Скобелева и Жукова!.. Ты – надежда русской армии!.. Твои операции, я уверен, будут изучать в Академии Генерального штаба!.. И знай, что бы ни случилось в твоей судьбе, я – рядом!.. Приду к тебе и в час недобрый, и в минуту твоей победы!.. А чтобы помнил наш совместный чеченский поход, прими от меня подарок!.. – Он шагнул все к тому же табурету, прикрытому белым холстом. Вынул из-под него большую тяжелую книгу. – Специально из Мекки прислали в библиотеку Масхадова!..

В смуглой коже, с золотыми углами, усыпанный самоцветами, с глубоким тиснением, Коран напоминал тяжелый ларец с драгоценностями. Именинник бережно принял книгу. Приоткрыл ее. Отпустил страницы. Они, как росой, брызнули разноцветными буквицами, сочными узорами, арабской священной вязью. Коран лежал на сильных генеральских ладонях, воздух вокруг книги тонко и нежно светился.

Выпили за здоровье. Книга легла на карту рядом с саблей, прикрывая своей золоченой тисненой кожей район площади Минутка, где в туннеле, среди обломков джипа, лежал неубранный труп горожанина и на бетонной стене красовалась надпись с потеками: «Джихад – наша дорога в рай!»

– Ну что, – произнес командующий, – третий тост за погибших...

Они подняли бокалы на уровень груди, молча склонили головы. Именинник, глядя, как плещется в коньяке золотая искра, больной тяжелой мыслью подумал о вчерашней утрате. Вертолет с десантниками был подбит в горах и рухнул на снежный склон, унеся на тот свет двадцать молодых душ. Весь вчерашний и сегодняшний день в районе падения, на лесистых склонах, шел бой. Десантники прорывались к обломкам, выносили на плечах погибших товарищей, гибли под пулями. Загружали в вертолеты обгорелые трупы. Об этом была угрюмая мысль генерала, созерцавшего на дне своего бокала золотую коньячную искру.

Краткие поздравления, без подарков, высказали начштаба и начальник разведки. Именинник разлил по фужерам остатки коньяка, порозовевший, вдохновленный, произнес заключительный тост:

– Спасибо вам за добрые слова, которые дороже любых наград... Хочу поднять этот бокал за ваше здоровье, товарищ командующий... Поблагодарить, как говорится, судьбу за то, что мы воюем под вашим началом... Учимся у вас, перенимаем стратегию и тактику, особенно то, что зовется военной хитростью, копанием «волчьих ям»... Будет день, когда мы все вместе пройдем по красивой летней Москве, заглянем в зоопарк и посмотрим, как сидят в клетках Басаев, Масхадов, Хаттаб и прочие ваххабитские волчары с вырванными клыками... За победу!.. За русское оружие!.. За Россию!..

Они звонко чокнулись, выпили, поставили пустые фужеры на карту в районе нефтеперегонных заводов, где в ржавых конструкциях, проломленных цистернах выл ночной ветер и летели в пурге бледные вереницы трассеров.

Командующий подошел к столу с телефонами. Снял трубку. Властно сказал:

– Дай мне Кобальт... Кобальт, – повторил он через секунду, – дай мне начальника артиллерии... – И снова, через краткое время, подошедшему на другой оконечности провода начальнику артиллерии: – Николай Сергеевич, попрошу тебя, отработай сейчас по всем плановым целям... Тут у Владимира Анатольевича день рождения... Давай ему устроим салют... Из всех цветочков и трубочек...

Повесил трубку. Весело смотрел на именинника, которому уготован был фейерверк. Батарей дальнобойных гаубиц, расположенных на хребте над Грозным. Дивизионы самоходок,

именуемых нежно «Гвоздиками». Сверхмощные минометы «Гиацинты», стреляющие вакуумными зарядами. Установки «Ураганов», притаившиеся на равнине. Системы залпового огня, врытые в землю вдоль Сунжи. Командиры расчетов, светя под ноги фонариками, бежали к орудиам, вводили в дальномеры цели в городе – бункеры полевых командиров, подземные доты, склады боеприпасов и топлива, узлы связи, госпитали и убежища.

Командующий смотрел на часы, на волосяную мерцавшую стрелку. Подсчитывал время, которое понадобится артиллеристам для выполнения приказа. И когда зарокотало, заревело за брезентовой стеной шатра, шагнул к выходу, приглашая за собой остальных.

В небе, косо вверх, тянулись млечные светящиеся дороги. В них катились белые огненные шары. Со свистом и воем уходили во тьму. Их нагоняли другие, насыщая ночь мерцанием плазмы. По холмам, по всему горизонту рокотало, вспыхивало, словно кругами ходили и стлкивались грозные тучи, отражались розовыми молниями. Город начинал загораться. Будто отворилась заслонка огромной печи и отсвет пламени медленно колебался на тучах. В черный город падали снаряды, пробивали крыши и этажи, достигали подвалов, выворачивали дом наизнанку красным косматым взрывом. Вакуумная мина тяжело плюхалась в дом, уходила в глубину, вспыхивала зеленоватым мерцающим облаком, сжигала молекулы воздуха. Каменные стены всасывались в пустоту, ломались и дробились на крошки, превращались в пар. Камень, железо, упрятанные в амбразурах стрелки, спящие в подвалах жильцы искрящейся пылью утекали в небеса.

Генералы стояли у палатки, смотрели на туманное зарево. Казалось, Грозный отрывается от своих основ и фундаментов. Превращенный в пар, улетает в высоту, чтобы там превратиться в небесные палаты, сияющие колоннады и арки. В небесный город, не подверженный разрушению и смерти.

Прощались. Каждый уходил в свой кунг, чтобы продолжить работу, принимать доклады, планировать завтрашний день.

Генерал-лейтенант, кому предстояло назавтра продолжать операцию в Грозном, многомерный бой, продвигая утомленные части через центр на юго-восток, выдавливая отряды Басаева, остановил начальника разведки:

– Анатолий Васильевич, что я подумал... Тебе нужен сейчас холодный ум и спокойные нервы... От тебя зависит, затолкаем ли мы зверье в «волчью яму»... Твой сын на переднем крае... Выходит так, что сам ты его бросаешь в самое пекло... Давай на время переведем его в первый полк, в оцепление... Сделаем дело – вернем его снова на передний край. Война еще длинная, навоюется...

Полковник молчал, и генерал в темноте не мог разглядеть выражение его лица. И только в голосе, когда тот ответил, прозвучала едва уловимая благодарность:

– Пускай воюет там, где воюет.

И они расстались, пожелав друг другу спокойной ночи.

Начальник разведки полковник Пушкин после доклада командующему сидел в ночном кунге за тесным столом. При свете железной лампы изучал перехваты чеченских радиостанций, работающих среди развалин, в штабах полевых командиров, в разных районах города. Листки с распечатанными перехватами несли в себе позывные, команды, косноязычные, на неправильном русском фразы, просьбы о помощи, иносказательные цифры потерь, упоминания о пленных, о погибшем полевом командире, едкие шутки, злые проклятия, обрывки молитв, требования срочно прислать горячее, упоминание об аккумуляторных батареях, принадлежащих какому-то Лечи, упоминание о джипе, подбитом на площади Минутка, о каких-то ампулах с кровью, о каком-то Ахмете, потерявшем руку, о подземных переходах, где прорвало канализацию и невозможно передвижение.

В этих обрывках, обрезках, напоминавших огромную сорную кучу, Пушкин опытным слухом и взором отыскивал драгоценные зерна. Выуживал их из хаотичных потоков боевой информации, витавшей в гибнущем городе. Откладывал сверкающие крупы в сторону. Соединял с добытыми накануне. Так действует реставратор, рассматривая опавшую стену с расколотой, обвалившейся фреской. Среди битого кирпича и известки, разноцветной крупы отыскивает крохотные фрагменты лица, орнамент одежды, складку плаща. Неусыпным кропотливым трудом соединяет их вместе, воссоздавая утраченный лик. Образ, который воссоздавал Пушкин, был не апостол, не ангел, не Иисус, не Дева Мария. Это был облик Шамиля Басаева, его лысый бугристый череп, черно-синяя борода, кривые жестокие губы, черно-вишневые, умные, чуть навывкате глаза.

Его позывной «Джихад» редко появлялся в эфире. Но его оплетало, к нему стекалось, окружало его множество линий связи, обозначавших главный штаб обороны. Так паутина, развешенная по ветвям, своим концентрическим узором, ведущими к центру линиями указывает местоположение паука, притаившегося в сердцевине узора.

Сопоставление фраз, анализ приказов, исследование интонаций убеждали Пушкина в том, что сражение за город достигло зыбкой, неустойчивой грани, на которой колебалось равновесие сил. Ярость атак и контратак, волевой порыв наступления и упрямый отпор обороны. Требовались усилие, серия ударов, усиление огня, продвижение в глубь рассеченных районов – и оборона дрогнет. Начнет рассыпаться, стягиваться в локальные ядра, в слепое неуправляемое сопротивление разрозненных групп, потерявших из виду штаб, не слышащих своих командиров, утративших смысл своих кровопролитных жертв.

По некоторым намекам Пушкин угадывал нервозность в штабе Басаева. Признаки изменения тактики. Командиры соседних частей то и дело приглашались на встречи. Проходили совещания, на которых формировался неведомый план. Разведка чеченцев испытывала на прочность кольцо окружения, пыталась нащупать брешь. Все говорило о возможном прорыве, когда крупные массы противника клином пронзят блокаду, оставят город и уйдут на юг, в горы. Соединятся с другими отрядами, чтобы там, в неприступных ущельях, продолжить войну.

Пушкин старался проникнуть в таинственный план. Угадать ход мыслей Басаева. Просвечивал на незримом экране его мозг, где гнезился дерзкий проект. Вживался в его вероломный нрав. Усваивал его повадки бесстрашного, беспощадного воина. Удачливого хитреца. Ненавистника русских. Любимца отчаянных безрассудных вояк, радостно кидавшихся за ним из войны в войну. Богача, захватившего нефтяные прииски, заводы и нефтезаправки. Аскета, обходившегося брезентовой курткой, парой сапог и «калашниковым». Мечтателя, замыслившего воздвигнуть исламскую страну на Кавказе, от Черного моря до Каспия. Холодного убийцу, стрелявшего в рожицы. Нежного семьянина, обожавшего дочек и жен, построившего для семьи роскошные дворцы с садами, бассейнами, антеннами космической связи.

Пушкин воевал с Басаевым, с ним лично. Хотел его победить. Проникнуть в его таинственный замысел. Внести в него малый изъян, чтобы проект накренился, скользнул по наклонной плоскости и ссыпался к нему, Пушкину, в ладони. И тогда в оставленный коридор на стыке полков, по белому снегу вдоль черной ленивой Сунжи, пойдут в ночи тысячи боевиков. Нагруженные оружием, тюками с продовольствием, пулеметными лентами, станут подрываться на лепестковых минах, пятная черную ночь красными короткими взрывами.

Пушкин напрягал воображение, концентрировал волю. Колдовал, вызывая из черной ночи образ Басаева. И так велика была его страсть, так сильны были его заклинания, что в полутемном кунге из пылинок, мутных теней, света настольной лампы материализовался желтоватый бугристый череп, гуща синей смоляной бороды, оттопыренные хрящеватые уши, кривая ухмылка и яркие, злые глаза, которые со смехом взирали на Пушкина, отрицали его, издевались, сулили ему поражение. Образ секунду витал в металлическом кунге и канул. Умчался обратно, через пространство ветреной ночи, минуя посты и дозоры, погружаясь в пожары ноч-

ного города. Туда, где в подземном бункере на деревянном удобном ложе под пестрым одеялом дремал Басаев, обняв в полутьме плечи русской любовницы.

Следующий час ночи полковник Пушкив разговаривал с агентом, доставленным к нему в кунг из развалин Грозного. К утру агента отвезут на бэтээре в город, оставят на нейтральной полосе, среди одноэтажных разоренных домов, и тот скроется среди поломанных садов, продырявленных заборов и сорванных снарядами крыш. Смешается, как мутная тень, с погорельцами и бездомными бродягами.

Агент, худошавый, светловолосый, голубоглазый чеченец, с наслаждением пил горячий кофе, держа обеими ладонями большую фарфоровую чашку. Наклонил над ней тонкий хрящеватый нос, слегка волнистый у переносицы. Эта нервная, изогнутая линия носа, синие под золотистыми бровями глаза, желтая пшеничная борода делали его похожим не на чеченца, а на представителя загадочного исчезнувшего народа, выброшенного волнами истории к стенам Кавказского хребта. Этот народ потерял свое имя и память, одиноко, из века в век, блуждает среди чуждых племен, не сливаясь с их смуглой, черно-синей кавказской расой.

Агента звали Зия. Он был художник. Утверждал, что его картины висят в Музее искусств. Его мать, сестра и племянники уехали из Грозного в самом начале штурма. Сам же он остался в одноэтажном кирпичном доме с бирюзово-зелеными воротами, чтобы сохранить от пожаров и обстрелов свои холсты, в которых он отобразил созданную им мифологию. Он стал работать с Пушкивым после того, как полковник помог его бедствующим родственникам найти в Махачкале приют и работу, обеспечил кров и кусок хлеба.

Зия пил вкусный крепчайший кофе, наслаждался теплом, безопасностью, возможностью говорить с интеллигентным, внимающим ему человеком.

– Чеченский народ – всем народам чужой, – рассуждал Зия, смакуя из драгоценной душистой чаши. – Ему на земле тесно и неуютно. Мы, чеченцы, как пришельцы, инопланетяне. Будто прилетели с других планет, никто нас не понимает, не любит, не хочет выслушать. Я вывел такую теорию, что чеченцы – это жители Атлантиды, уцелевшие от потопа. Они плыли на ковчеге, когда случился потоп и сгубил Атлантиду. Наш народ устроен так, как был устроен божественный народ Атлантиды в золотой век. Мы храним в себе образ райской, божественной жизни, но не можем устроить рай на этой грешной земле. Поэтому и находимся в непрерывной вражде с другими земными народами...

Глаза художника возбужденно мерцали под тонкими золотыми бровями. Свет лампы падал так на его бородку и пшеничные волосы, что лицо его окружало сияние. Он и впрямь казался небожителем, источавшим свечение иных миров. Пушкив был знаком с его странностями и фантазиями. Почитал его за блаженного. Сомневался, можно ли такому человеку, как он, поручить доверительный и опасный контакт с окружением Басаева.

– Мы, чеченцы, должны были идти путями духа. Вращивать в своей среде художников, философов и артистов. Мы должны были вернуть себе утраченные знания нашей прародины Атлантиды. Наши великие предки умели угадывать будущее, передавать мысли и чувства на расстояние, владели тайной тяготения и вечной жизни. Но свирепые, выродившиеся вожди, такие, как Дудаев, Басаев, Масхадов, захватили власть. Использовали ее для кровавых деяний. Стали убивать, воровать, мучить людей, торговать ими, как рабами, расстреливать на площадях. Нас сделали врагами всего человечества, и теперь нас посыпают бомбами, наши картины и библиотеки горят, наши философы и артисты бредут по дорогам, как беженцы, с нищенской сумой...

Пушков всматривался в исхудалое лицо художника, стараясь угадать, где кончаются его творческие фантазии и начинаются лукавство и хитрость, позволявшие выжить среди свирепых полевых командиров и ожесточенных русских солдат. Можно ли этому блаженному, верящему в бессмертие и полеты без крыльев, поручить контакт с подозрительным и свирепым



Басаевым, в контрразведке которого пытали огнем и током? Вправе ли он, разведчик, поставить в зависимость от этого шуплого тела и бредящего рассудка успех боевой операции, решавшей судьбу разгромленного и горящего города?

– Я должен выжить. Когда завершится война и уцелевшая часть народа вернется на свое пепелище, я передам моему народу сбереженные тайные знания, мои картины и рукописи. Народу потребуется лидер. Не богач, не свирепый воин, не хитрый политик. Но мудрец и философ, который расскажет людям о золотом веке, о земном рае, об искусствах и ремеслах нашей древней и прекрасной прародины. В Музее искусств висит моя картина. На ней изображены люди, научившиеся побеждать гравитацию. Они идут по водам, по гребням волн, исполненные духа и света, за своим предводителем и вождем. Мне кажется, я научился побеждать тяготение. Я испытал столько горя, произнес столько молитв, что это лишило мое тело вещественности. Мне кажется, я могу перейти через Сунжу без моста, не замочив ноги...

Пушков знал, что в разрушенный дом художника иногда заходит журналист, работающий в стане Басаева. Этот журналист по фамилии Литкин служил по найму французского телеканала, передавал из Грозного репортажи, прославлявшие боевиков, воспевавшие их мужество и героизм. Его телевизионные ролики, которые он продавал иностранным агентствам и российским либеральным программам, содержали кадры подорванных русских танков, обгорелых солдат, допросы российских пленных. Он был мастер интервью с полевыми командирами, проклинаящими Россию и русских. Литкин был смел, умен и удачлив. Был любим чеченцами. Был допущен к Басаеву. Создавал кинолетопись чеченской обороны Грозного. Искусный солдат информационной войны, воевал против русской армии. Был враг, которого Пушков собирался использовать в интересах разведоперации.

Возбужденный горячим кофе, найдя в Пушкове терпеливого и благосклонного слушателя, Зия не умолкал:

– У меня кончаются краски. Нет холста. Мои карандаши и бумаги сгорели. Остались только угли. Но я начал картину. Пишу ее на стене. Пишу бой между чеченцами и русскими, страшный смертный бой. Воины сошлись в рукопашной. Пронзают друг друга автоматными очередями. Распарывают ножами и штыками. Руками разрывают друг другу рты и выдирают глаза. Их души излетают из окровавленных изуродованных тел. И как только они вылетают и устремляются в небо, они обнимаются один с другим, целуют один другого в уста. Там, на небе, садятся за один стол, наливают кубки друг другу вином, угощают виноградом, чудесными плодами, любят друг друга. Они забывают про грешную землю, где остались их растерзанные тела. Славят Творца за то, что Он избавил их от этих тел, от бремени страшных земных грехов...

Лицо художника было восторженным, источало сияние. Пушков представлял, как в доме без крыши, среди снега, навалившего на столы и кровати, на белой стене художник рисует картину сражения и в окнах без стекол синее морозный сад.

– Дорогой Зия, – Пушков дождался, когда художник умолк, погрузившись в свои видения, осторожно и настойчиво вывел его из области мечтаний, – скажи, когда придет навестить тебя Литкин?

– Быть может, завтра, – рассеянно отозвался Зия, – или послезавтра... Он хотел прийти с телекамерой, заснять мою фреску... Как я рисую на стенах разрушенного города...

– Ты сказал, что он имеет доступ в штаб Басаева. Встречается с полевыми командирами.

– Они его любят и ценят... Он рискует головой, работает под бомбами... Он делает фильм о Шамиле Басаеве... Хочет отправить его в Париж и там устроить просмотр... Он отважный репортер, согласен с моей философией...

– Ты бы не мог от моего имени сделать ему одно сообщение?

– Он придет ко мне завтра, и я ему передам...

– Скажи ему, что один офицер, обладающий информацией, хочет выйти на Шамиля Басаева. Информация чрезвычайно важна для чеченцев. Офицер готов ее передать за деньги. Ты

сообщишь ему это и, если сообщение представит для него интерес, устроишь мне встречу с ним.

– Я сделаю, как вы просите... Не вникаю в ваш замысел... Я художник, в которого стреляют с обеих сторон... Сквозь разбитые окна моего дома летят пули и в ту и в другую сторону... Античные пьесы играют сегодня на холодных развалинах древних амфитеатров. Я пишу мою фреску на горячих развалинах родного города... Приходите, и вы увидите, как в нарисованных углем воинов попадают настоящие пули...

Пушков смотрел на озаренное, золотистое лицо чеченца, продолжавшего грезить. Тот не ведал, что секунду назад через невидимую тончайшую иглу в него ввели инъекцию. Она неслышно проникла в кровь, расточилась по сосудам, слилась с его тихим безумием. Он был инфицирован. Стал носителем боевой информации. Продолжая свою обморочную, полубезумную жизнь, приобрел стратегическую ценность. Стал звеном боевой операции. Пушков смотрел на него как на свое изделие, которое сотворил, подобно стеклодуву. И должен теперь беречь, чтобы случайный толчок, или нелепая пуля, или безумный поступок не погубили драгоценный сосуд.

– Я говорил по телефону с твоими родственниками в Махачкале. У них все хорошо, все здоровы. Хочешь, мы сейчас с ними свяжемся?

– Неужели это возможно?... – загорелся художник. – Я был бы счастлив!.. Я вам так благодарен!..

Пушков извлек из стола темный футляр радиотелефона, работающего через космические спутники. Телефон был трофейный, добыт разведчиками при разгроме чеченской базы. Открыл футляр, вытащил антенну, осуществил включение и настройку, глядя на сочный огонек индикатора.

– Надо выйти наружу, чтобы не мешало железо кунга. – Пушков понес телефон к выходу, как маленький поднос, на котором теплился крохотный рубиновый огонек.

Зия заторопился, засеменил следом. Они оказались среди ветреного черного пространства, дикого и жестокого, в котором, неслышные миру, неслись позывные артиллерийских батарей, ночных бомбардировщиков, армейских штабов.

Пушков набрал номер далекой городской комнатухи, в которой ютилась чеченская семья беглецов. Слушал потрескивание трубки, куда пытались залететь зовы о помощи, приказы на поражение целей, коды разведчиков в заснеженном Аргунском ущелье, радиообмен генералов, переговоры полевых командиров. В этих потрескиваниях прятался торопливый голос олигарха, тайно звонившего из Москвы в ставку Шамиля Басаева. Властный баритон командующего, рапортующего министру о ходе боев за Грозный. Все эти звуки, витавшие в поднебесье, стремились залететь в крохотную ушную раковину радиотелефона, промахивались, уносились в ночь. Телефон своим зорким красным глазком, тонким невидимым клювом отыскал среди черного перепаханного космоса малое зернышко жизни. Углядел, выхватил из ледяного гиблого мира.

– Слушаю вас, – раздался надтреснутый женский голос, в котором дребезжала беда, непроходящий испуг, невысыхающие слезы, ожидание новых утрат. – Слушаю вас... – бестолково и жалобно повторил голос.

– Зия, твоя мама на проводе. – Пушков передал художнику трубку. И тот, стоя на железных ступенях кунга, жадно схватил телефон, прижал к трубке губы, словно целовал дорогое лицо, седые неприбранные волосы:

– Мама!.. Мамочка!.. Это я, Зия!.. Ну как ты там, родная моя?!

Пушков отошел, не мешая их разговору. Это была работа с агентом. Поддерживала гарантию его надежности и эффективности. Пушков стоял на заснеженной мерзлой земле, на которую падал свет из кунга, освещал ребристый след транспортера. Малое зернышко жизни

лежало в промороженной колее, по которой завтра, колыхая броней, выбрасывая едкую гарь, пройдет бэтээр спецназа.

В глухой час ночи полковник Пушкив, светя под ноги длинным лучом фонаря, перешел липкую, чуть подмороженную грязь. Назвал пароль часовому, караулившему проход сквозь колючую проволоку, за которой в земляной тюрьме содержались пленные и стоял железный вагон для допросов. Накануне засада спецназа, выставленная у Сунжи, задержала разведчика, пробиравшегося в темноте по пути возможного прорыва чеченцев. Первые допросы не дали результатов, лазутчик упирался, прикидывался беженцем. Потом к его нервным дрожащим ноздрям приставляли пистолетное дуло. Метали в его голову ножи, проносящиеся у виска, глубоко входящие в дерево рядом с хрящеватым ухом. Били короткими тупыми ударами в живот, так что из него начинала сочиться зловонная жижа. Пленный стал давать показания. Пушкив хотел лично услышать интересующую его информацию.

Железный вагон был разделен на два отсека. В первом на табуретке, вольно расставив ноги, в слоях табачного дыма развалился автоматчик, кидая в консервную банку окурки. За перегородкой в свете обнаженной электрической лампы, скованный наручниками, сидел пленный чеченец, худой небритый юноша, помятый и побитый, с распухшей губой и сиреневыми синяками в подглазьях. Сжал сутулые плечи, водил из-под черных бровей затравленными глазами. Над ним возвышался здоровенный прапорщик спецназа Коровко, бритый наголо, в камуфляже, с засученными рукавами, обнажавшими жилистые лапищи. На столе лежали грязная тетрадь для записей, короткоствольный с брезентовым ремнем автомат. На затоптанном полу стояло ведро с водой, в котором плавала жестяная кружка.

– Ах ты, дерьмо басаевское!.. Чечен херов!.. Я тебе сейчас гранату к яйцам пришпилю и пушу гулять!.. Я тебя, сука, тут же, на вагоне, повешу!.. Тебя, мразь, там же, на берегу, шлепнуть надо было!.. Я тебя, вонючка, за ноги привяжу к бэтэеру, потаскаю по канавам!.. Пулю тебе всажу в переносицу и труп твой поганый собакам кину!.. Будешь, нет, педераст, говорить?.. – Прапорщик замахивался на пленного огромным, как булыжник, кулачищем. Чеченец вжимал голову, поднимал на сержанта ненавидящие глаза. Хриплые слова, выталкиваемые из горячего рта сержанта, были как удары, осыпавшие изможденное тело. – Что мне, клещи взять?.. Вместе с ребрами твои вонючие показания выламывать?..

Пушков с порога чувствовал бешеную ярость прапорщика, возбужденного собственным хрипом, ненавидящими, чернильно-блестящими глазами чеченца, его тупым молчанием. Пленный был беззащитен, скован хромированными наручниками, в полной власти кричащего на него мучителя. Железный вагон не пропускал наружу ни звука. На полу стояло страшное ведро с водой, слепо отражавшее лампу. Автомат на столе нацелил жадное черное рыльце, свесил брезентовую петлю. Никто не мог прийти на помощь чеченцу, прокрасться сквозь рвы и минные поля, проникнуть сквозь капониры и врытые в землю танки, вырвать его из рук врагов. Обреченный, желая жить, страхась угроз и побоев, он обманывал, увиливал, извивался, как попавший под лопату червяк. И при этом не сдавался, ненавидел, сверкал ядовито-черными глазами, горевшими среди синяков и царапин.

– Опять врать начинаешь?.. Я тебе сейчас бутылку в жопу вобью и танцевать заставлю!.. – свирепел прапорщик, готовый ударить кулачищем в этот ненавидящий блеск, расплющить стиснутые молчащие губы, проломить худые скулы, покрытые синеватой щетиной.

– Отставить, Коровко... Отдохни... – Пушкив прошел к столу, сел на стул, сдвинув локтем автомат. Отвернул от пленного дуло, придвинул тетрадь. – Пойди пока покури...

– Я бы ему, суке, порох в рот насыпал и зажигалку поднес!.. Змея Горыныча из него сделал!.. – Прапорщик тяжело протопал в первый отсек, где автоматчик уступил ему место на табуретке и протянул сигарету.

– Так, – произнес Пушкив спокойным, будничным, почти домашним голосом, – тебя Умар зовут? Правильно я говорю?

– Так точно, – по-военному ответил чеченец, чувствуя для себя передышку, желая ею воспользоваться, стараясь понравиться серьезному спокойному офицеру.

– Ну что, вот здесь, в тетрадке, записано, что начал говорить интересные вещи. Давай повтори, да и пойдем отсыпаться. Час поздний, – миролюбиво и устало произнес Пушкив, сдерживая зевоту, который должен был окончательно успокоить пленного. – Значит, говоришь, тебя послали разведать, что творится на флангах первого полка?

– Да нет же!.. – страстно и искренне начал отпираться чеченец, надеясь на доверчивость и доброту офицера. – Не посылал никто!.. Сам шел!.. В городе бомбят, стреляют!.. Жить хочу!.. Пошел спасаться из города!..

– А в тетради почему записано, что ты разведывал фланги полка?

– Били, вот и сказал!.. В ногу стали стрелять, подошву прострелили!.. – Пленный вывернул грязный стоптанный ботинок, рант которого откусила пуля, точно ударившая в пол.

– Басаева знаешь? Ты из его группировки? – Пушкив продолжал спрашивать так, словно не слышал жалоб чеченца. – И долго вы будете напрасно своих людей губить? Басаев уйдет, а вас под бомбами оставит...

– Не знаю Басаева!.. Честно, не знаю!.. – Чеченец прижал к груди руки в наручниках, умоляя Пушкива, чтобы тот ему верил. – Ненавижу Басаева!.. Если бы его увидел, пристрелил, как собаку!.. Людей погубил!.. Город погубил!.. Брата моего погубил!.. Сам в него пулю пущу!..

Пушков не верил чеченцу. Чувствовал его страх, изворотливость, желание выжить, стремление перехитрить, упрятать поглубже правду, до которой хотели докопаться захватившие его враги. Он выглядел как маленький блестящий жучок, желающий забиться под корень травы, пряча под полированным, черно-металлическим хитином испуганную капельку жизни. Пушкив стремился проникнуть под жесткий панцирь, не раздавив, добыть малую, таящуюся в глубине правду.

– Чтобы мирным людям уйти из города, созданы коридоры. Там не стреляют. Женщины, дети идут... А ты пошел по расположению военных частей. Действовал, как разведчик...

– Заблудился!.. Пальбу открыли, я побежал!.. Жить страшно!.. Всех друзей убили!.. Дом разбомбили!.. Нету сил!.. Хотел уйти!..

Пушкову была неинтересна личность чеченца. Он был равнодушен к его судьбе. Чеченец был нужен ему постольку, поскольку в его тщедушном измученном теле, в испуганной и лукавой душе скрывалась важная на эту минуту информация. Когда она будет добыта, хитростью или угрозами извлечена из тщедушного пленника, тот потеряет для Пушкива всякое значение. Забудется навсегда. Сольется с другими, неразличимыми среди бесчисленных встреч, допросов, проверок, неопознанных трупов, замороженных в красный лед, или вдавленных в липкую землю, или плывущих по черной воде, или висящих на колючих кустах. Однако сейчас, в глухой час ночи, все его внимание и прозорливость были устремлены на молодого чеченца, из которого он добывал по каплям драгоценное знание, пропуская сквозь соковыжималку допроса.

– А где же твои документы, Умар?.. Оставил в басаевском штабе, когда уходил в разведку?.. Так поступают разведчики, когда идут в тыл врага...

– Нету документов!.. Сгорели!.. Бомба попала, вся квартира сгорела!.. Шкаф сгорел с пиджаком!.. Там документы лежали!..

Чеченца взяли на окраине Грозного, на заснеженном берегу Сунжи. На маршруте, где ожидался прорыв Басаева и готовилась ловушка. Его появление на снежном берегу означало, что именно эту тропу прощупывает Басаев для предстоящего рывка. Пытается узнать, нет ли минных полей, сколь плотен огонь пулеметов, выставленных на флангах полков, как велика брешь в кольце, охватившем город. Это был не первый лазутчик, появлявшийся ночью на

пустынном берегу. Двоих засекла засада спецназа, наблюдая в приборы ночного видения скольжение призрачных, похожих на водоросли зеленоватых фигур, провожая их волосяными пере-  
крестьями прицелов. Их пропустили, позволяя вернуться в город. Третьего взяли, оглушили на снегу, сунули в люк бэтэра.

– Видишь ли, Умар, мне нужно немного... Узнать, с какой целью тебя послали... Если скажешь, отпустим... Даже машину дадим, подбросим на окраину Грозного... Не скажешь, отправим на фильтрацию в Чернокозово... Там тебя дофильтруют до последнего зуба... Если, конечно, довезут до места...

– Товарищ полковник!.. – жалобно взмолился чеченец, поднимая вверх грязные сжатые ладони, стиснутые на запястьях наручниками. – Не посылал никто!.. Заблудился!.. Не мучьте меня!..

Пушков устало поднялся, сказал сержанту:

– Давай, Коровко, твоя работа... Он мне не нужен... Пускай в расход...

Прапорщик лениво, огромный, как бревно, отломился от стены. Пульнул окурочек в консервную банку. Тяжко прошаркал бутсами по заплеванному грязному полу. Взял со стола короткоствольный автомат, направив ствол на ужаснувшееся, с онемевшим открытым ртом лицо. И ударил грохотом, окружая голову вспышками, дымом, летящими гильзами, оглушая истребляющим страшным сверканьем холостой очереди. Чеченец, отражая пламя выпученными остановившимися глазами, рухнул с табуретки на пол. Лежал, омертвевший, белый, с приоткрытым недышащим ртом.

– Ты что его, Коровко, вместо холостых боевыми? – пожимал плечами Пушков, недовольно поглядывая на скрюченное худосочное тело чеченца, похожее на темный стручок акации.

– Да нет, товарищ полковник, обдристался со страха... Сейчас откачаем... – Сержант черпнул из ведра кружкой, шмякнул твердой струей в лицо чеченца. Вода ударила вспышкой света, потекла на пол. Сквозь стекающую пленку воды зашевелились губы пленного, заморгали остановившиеся глаза. – Видите, товарищ полковник, он рыба, не может жить без воды, – ухмыльнулся сержант, показывая большие желтые зубы. Схватил за шиворот пленного, рывком посадил его на табуретку.

– Давай, Умар, говори... Холостые патроны кончились, – произнес Пушков.

– Они меня послали, пятьдесят долларов дали... – полушепотом, слабо управляя своим сотрясенным сознанием, сказал чеченец. – Сказали, пройди посмотри, есть ли, нет часовые... Вернешься, еще пятьдесят дадим...

Молодое лицо чеченца было белым, с синеватыми тенями близкой смерти. На худых руках блестели наручники. Грязные башмаки стояли вкривь. Одна порточина задралась выше другой, и виднелась тощая волосатая нога. Он был неинтересен Пушкову. Из него была сделана выжимка, а оставшееся было неважным, ненужным. Чтобы не спугнуть пославших его чеченских штабистов, пленного застрелят, подбросят на берег Сунжи. Следующий лазутчик натолкнется на мертвое тело, сообщит в штаб Басаева, что минных полей по дороге нет, но берег временами простреливается пулеметами русских и разведчик Умар попал под шальную очередь. Это увеличит успех операции, убедит Басаева в том, что здесь нет западни, а лишь ослабленная оборона, сквозь которую возможен прорыв.

Так думал Пушков, собираясь встать и уйти. Пробраться с фонариком в кунг, рухнуть на полку, отхватить у ночи несколько последних часов.

Но что-то умоляюще-детское мелькнуло в лице чеченца, что-то неуловимо знакомое, повторявшее одно из выражений его собственного сына Валерия, когда тот в болезни, страдая от немоги, тянулся к нему, отцу, уповая на его волшебную силу, отцовское всемогущество и милосердие, находясь в абсолютной зависимости от его благой воли. Это совпадение остро, больно поразило Пушкова. Скованный наручниками чеченец был чьим-то сыном. У него была

мать. Ожидала его, страдала за него, с ужасом ждала его смерти. Судьба молодого чеченца, сидящего перед ним здесь, в Ханкале, и судьба его сына, воюющего среди развалин Грозного, оказались вдруг странно связанными. Не как судьбы истреблявших друг друга врагов, а иной связью, проходящей через его, Пушкина, тайно страдающее сердце. Жизнь одного необъяснимым образом сохраняла жизнь другого, а смерть одного неизбежно влекла за собой смерть другого. Эта связь, обнаружив себя, не исчезала. Пушкин дорожил ею, берег ее, не давал разорваться.

– Коровко, – приказал он прапорщику, – отведи его спать. Завтра отправишь в Чернокозово. Пусть прокуратура с ним разбирается. Он мне еще будет нужен. Сдашь под расписку.

Полковник встал и, не глядя на чеченца, вышел. Шагнул по грязи, утыкая в колею бледный луч фонаря. Ему казалось – через огромное ветреное пространство зимней ночи сын Валерий думает о нем. Их мысли летели и сталкивались. Встречались там, где над палатками, батареями дальнобойных орудий, врытыми в землю танками возносилась на дуге и дрожала розовая сигнальная ракета.



## Глава третья

Утро было черно-синим, студеным, с ледяными сквозняками из выбитых окон, с холодным зловонием подъездов, в которых накапливались солдаты штурмовой группы. Звенели автоматами, касками, цеплялись трубами гранатометов за поломанные лестницы и углы. Лейтенант Пушкин стоял на скользких ступенях, избитых осколками и ударами пуль, пропускал мимо солдат вниз, к подъезду, где, синий, волнистый, без следов, лежал снег. Солдаты теснились в подъезде, готовясь к атаке, осторожно выглядывали на нетоптанный снег с черными, еще мутными деревьями сквера, отделявшего их от соседнего дома. Едва различимый, похожий на висящий в воздухе грязный ком тумана, дом был объектом атаки. Казался мертвым, вымороженным, выжженным изнутри дотла вчерашним артиллерийским налетом. Но среди проломов, кирпичей, мусорных обугленных куч скрывались пулеметчики, снайперы, просовывались в бойницы острые репы гранат, тонкими струнками были пропущены у порогов минные растяжки. Множество зорких глаз всматривалось из бойниц в черно-синий сквер, смотрело вдоль вороненых стволов на обломанные деревья.

Город просыпался, готовый к боям. Его пробуждение напоминало запуск огромного холодного двигателя, начинавшего скрежетать мерзлыми, плохо смазанными поршнями. Они останавливались, заклинивались, снова проталкивались ударами и рывками. Начинал одиноко и нервно стрелять автомат. Его треск подхватывала тугая и злая пулеметная очередь. Звонко, коротко, словно лопался металлический стержень, била пушка боевой машины пехоты. Жарко рычал танк, проталкивая свирепый звук сквозь замороженный воздух, и в открывшуюся дыру, расширяя ее, как прорубь, принималась долбить самоходка, ахала, словно тупая кувалда. Вдалеке вываливали из неба металлический ворох, от которого сотрясалась земля, – рвались снаряды «Ураганов», взламывая асфальт мостовых, сокрушая бетонные стены. Пролетали со свистом, трескали в стороне множественными плоскими взрывами снаряды реактивных установок. И вдруг все умолкало, словно огромное ухо, висящее где-то в синем утреннем небе, слушало эхо отлетающих взрывов. Через секунду снова поспешно и зло начинал стрекотать автомат. Вслед ему чавкал крупнокалиберный пулемет бэтэра. Звуки ухали, учащались, звучали звонче и злей, словно двигатель прогревался, черпал все больше смазки. И уже начинали без устали грохотать огромные блистающие поршни, звенели и чмокали стальные клапаны, ходила ходуном земля, и казалось, металлические зубья вцепились в утренний город, мерцают, перетирают камень, сжевывают до фундаментов дома – и города все меньше и меньше.

За полчаса до атаки ожидался огневой налет артиллерии. Пушкин, используя последнее перед атакой минуты, осматривал солдат, заглядывал каждому в лицо, касался каждого. Словно своим прикосновением и взглядом соединял солдата с собой, сочетал его со своей жизнью. Убеждал солдата, что он, командир, будет с ним вместе во время предстоящей атаки, разделит с ним смертельную опасность, сохранит ему жизнь.

Солдаты в бронежилетах и касках, увешанные оружием, оснащенные «лифчиками» для ручных и подствольных гранат, выглядели крупнее, неповоротливее. Неловко несли на плечах пеналы огнеметов, ручные пулеметы, снайперские винтовки. Дышали паром, шаркали ногами, докуривали сигареты, деловито и основательно тушили окурки о стены.

– Клык, я пойду левым флангом, а ты давай справа... – Пушкин чуть сдвинул ручной пулемет, висящий на плече сержанта. Слегка толкнул его большое, тяжелое тело, увешанное железом. – Связь, как всегда, голосовая... Поглядывай на меня, понял?..

Клык кивнул сурово и удовлетворенно, наделенный командирским доверием, получая в свое распоряжение правое, заснеженное пространство сквера, еще тускло-синее и пустое, в которое скоро вонзятся красные колючие блестяшки, и он тяжело побежит, топчя снег, увиливая от очередей, оставляя за собой черные вмятины следов.

– Мужики, держитесь деревьев... От дерева к дереву... Залегать у стволов... Пусть лучше они деревья дырявят, чем ваши головы... – Пушкив приобнял куривших Косого и Мазилу.

Оба из вежливости вынули изо рта сигареты, держали их огоньками внутри ладоней. Кивали в знак согласия, будто сами не догадывались, что черные, иссеченные осколками липы были им защитой. От дерева к дереву, малыми группами, побегут, укрываясь от снайперов, связывая корявые стволы цепочками темных следов. У черных лип станут падать на снег, прижимая лица к шершавой коре, слыша, как сыплются им на спины срезанные пулеметом ветки, как мягко чмокают пули, уходя в древесину.

– Товарищ лейтенант, вы им попонятней... А то они тупые... Не поймут и на деревья залезут, как обезьяны... – Ларчик, перебросив на плече трубу гранатомета, весело хмыкнул.

Пушков был благодарен ему за эту насмешку то ли над ним самим, то ли над солдатами, хранившими в грязных ладонях малиновые огоньки сигарет.

– А ну-ка, Звонарь, давай ремешок подтянем... А то голова в каске будет звенеть, как колокол... Команду не услышишь... – Пушкив бережно, чтобы не причинить солдату боль, перетянул ремень каски, слегка касаясь острого худого подбородка, видя перед собой бледное лицо Звонаря. Испытал к нему мгновенную нежность, отеческую заботу, хотя сам был немногим старше. Того же роста, так же увешан гранатами, с тяжелым автоматом, висящим на стертом ремне.

Он заглядывал под каски, в лица солдат, будто прижимался к ним, и каждое оставляло на его лице свой отпечаток. Протиснулся к дверному проему. Подставил утреннему тусклому свету запястье с часами, различив циферблат с бегущей секундной стрелкой. Вид синего густого воздуха, черных среди нетоптаного снега деревьев, ледяной порыв ветра, дунувшего в подъезд, породили в нем мимолетное воспоминание. Детство. Зимнее утро. Он уходит в школу, закутанный в шерстяной цветастый шарф. Делает шаг в холодный студеный двор. Слышит, как сзади сверху своим грудным теплым голосом напутствует его мама.

Грохнуло за спиной, и тут же рвануло впереди в сумерках рыжим звездообразным взрывом, прокатив рокот по окрестным кварталам. Следом ударило тупо и гулко, задернуло красным огнем туманное видение дома, колыхнуло землю, словно всадили в нее железную сваю.

Танки били прямой наводкой, выставив орудия в проломы развалин. Неуязвимые для гранатометчиков, уничтожали огневые точки в подвальных помещениях дома. Снаряды неслись близко, упруго расталкивали свистящий воздух, ударяли в дом, выкалывая из фундамента ключья пламени.

«От нашего стола к вашему...» – Пушкив провожал их полет с радостным чувством, ловя губами вибрацию сотрясенного воздуха. Был благодарен танкистам. Оглохнув в башне, они вели стволом вдоль цоколя дома. Вышвыривали из дула расплавленный ком, сливали жидкий дым, перебрасывали через плечо танка пустую звонкую гильзу. Снаряды долбили подвальный этаж, выжигали огнедышащие пещеры. Чеченские снайперы при первых залпах покинули позиции, скатились в подземелье, пережидая налет. Пушкиву казалось, снаряды вылетают из его груди, из-под ребер, и это он своей силой и мощью раскачивает дом. «От нашего стола к вашему...»

– Подъезд крайний слева, Клык... Смотри не влети в соседний... Пусть его второй взвод берет... У каждого своя работа, свой хлеб... Ты понял?... – Эти слова были нужны ему самому. Давали выход его энергии, которая толкала его вперед из подъезда, и он удерживал себя, нетерпеливо топтался у порога.

Заработали пушки и пулеметы боевых машин пехоты, упрятанных на задворках. В доме по всему фасаду покраснели и стали лопаться нарывчики взрывов. Распугивали притаившихся в окнах гранатометчиков, которые отбегали в глубь комнат, ложились на пол в простенках, слыша, как впиваются снаряды и пули в мягкий кирпич.

– Так, мужики, пойдем через пять минут... – Пушков смотрел на часы, где, похожая на комарика, танцевала секундная стрелка. – Метро, ты пойдешь за Клыком, – злым командирским голосом приказал он снайперу. – А ты, Ерема, со мной... – приказал он другому, хотя оба знали свои места во время атаки и позже, когда наступало время закрепляться в захваченном доме.

Заработали самоходки в близком тылу, за несколько кварталов от сквера. Ухали по чердакам, срывали крышу, поджигали стропила. Кровельное железо сворачивалось в рулоны. Деревянные стропила горели. Теперь дом не был похож на туманное зыбкое облако. Обрел материальность, трещал, хрустел. Был увенчан разгоравшимся ленивым пожаром.

Светился красными проемами окон, словно в них затопили печи.

– Всем приготовиться! – В наступившей тишине Пушков смотрел на трепет секундной стрелки, напоминавшей тонкую золотую ресничку. И когда она, цепляясь за цифры, обожала свой круг, он вздохнул глубоко, как перед падением в ледяную воду. С этим вздохом, со словами бессловесной молитвы выталкивая себя из-за каменных стен в светлеющий утренний воздух, хватая губами холодный ветер, снежный запах и свет, он кинулся из подъезда. Крикнул с опозданием: – Пошли!.. – Пропустил вперед первую группу солдат. Побежал, держа автомат, ударяя ногами снег, выбирая для себя близкое черное дерево.

«Калина-малина...» – думал он машинально. Боковым зрением видел, как выскочил следом Клык. Плавнo метнулся вправо, увлекая за собой солдат. Из других подъездов молча выскакивали, начинали бежать солдаты штурмовой группы. Отделялись от стен одного дома. Виляя между деревьями, приближались к другому.

«Калина-малина...» Он бежал, испытывая знакомое чувство, похожее на сладкий ужас, как если бы нога его ступала на тонкий лед, под которым чернела бездонная глухая вода, и он каждый раз успевал оттолкнуться от льдины, прежде чем она проламывалась. Его тело под бронежилетом мгновенно покрылось испариной. Кулак, сжимавший автомат, вспотел. Он делал неуклюжие броски в стороны, убегая от невидимой мушки, приближаясь к ближней липе с раздвоенной вершиной. Когда хлестнули из дома ожидаемые пулеметные очереди, полетела навстречу дымная головешка гранаты, лопнул впереди негромкий разовый взрыв, он уже успел добежать до дерева, кинулся в снег, скользнув по нему грудью, едва не ударившись лицом о кору.

Он лежал, озираясь. Почти все его солдаты залегли, чернели на снегу. Только Флакон, оглядываясь по сторонам миловидным румяным лицом, продолжал бежать, забывая упасть. Клык крикнул ему в спину какое-то хриплое злое ругательство. Флакон послушно, по-собачьи, лег на открытом месте, нагребая перед собой горку снега.

Они преодолели четверть пространства, не потеряв ни одного человека. И это была удача. Дом приблизился, проступил в светлеющем воздухе серой штукатуркой, лепными карнизами, ржавыми водостоками. Вдоль фасада темнели четыре подъезда. Из нескольких окон валил дым. Над разоренной кровлей искрило, в серых клубках колесом проворачивалось пламя. В оконных проемах мерцало, словно дети шалили зеркальцами, посылали зайчики света. Работали пулеметчики и снайперы. Пушков услышал, как глухо стукнула пуля в ствол липы, ушла в древесную ткань и застряла, не достигнув его лица. Испуг и мгновенная слабость сменились благодарностью к черному зимнему дереву. Оно заслонило его своей плотью. Летом зазеленеет, скроет в благоуханной кроне поломанные сучья. Будет хранить в глубине ствола смятую пулю, обволакивая ее живыми кольцами. «Калина-малина...» – благодарил он дерево.

– Работаем по вспышкам!.. – длинно, зычно крикнул Пушков, выцеливая автоматом трепещущий огонек на фасаде. – Гранатометчик, огонь!..

Увидел, как привстал на одно колено Ларчик. Поднял на плечо трубу. Поводил ею. Кинул мохнатую кудель гранаты, которая полетела к дому, не попала в окно, взрыхлила на стене беле-ый взрыв. Клык упер в снег сошки, водил грохочущим пулеметом, окружая окно туманной

пылью попаданий. Снайперы, исчезая в одних окнах, тут же появлялись в других. Мерцающие шаловливые зеркальца гуляли по этажам, не давали солдатам подняться.

«Суки упертые!..» – подумал он зло, хватая ртом снег, чувствуя его вкусную холодную сладость. Его брань касалась чеченских стрелков, мешавших продвижению, и артиллеристов, прекративших огневую поддержку.

Словно услышав его злое ругательство, ударил танк. Проломил стену, будто вынул из нее кусок. И пока разрастался внутри здания взрыв, выдавливал из пролома тучу дыма, Пушкин заметил, как выпал из фокуса дом. Размыто колыхнулся, словно попал в слоистый стеклянный воздух. Танки били по дому, и он, окруженный рыхлыми взрывами, казался дрожащей перинной, из которой летел пух.

Два снаряда самоходки упали в сквер, выворачивая парную черную землю. В лицо Пушкину ударило жаркой волной, кусок липкой грязи шмякнул под глаз.

«Суки упертые!..» – снова подумал он, но уже без адреса, сразу обо всем происходящем, готовясь к броску.

– Вперед!.. – Он рывком поднял солдат. Побежал, видя, как в тишине летят от дома два вялых облака дыма. Успел заметить бегущих Мочилу и Звоняря, кувыркнувшегося в неловком прыжке и тут же вскочившего Ларчика и в стороне, за деревьями, в прогалах между развалин – оранжевую зарю, две яркие, разделенные темнотой полосы, похожие на гвардейскую ленту.

«Лас-Вегас...» – отвлеченно подумал он, глядя на дымный уродливый дом.

Пробежали две трети пути. Приближались к низкой чугунной изгороди, отделявшей сквер от дома, когда из подъездов, рассыпаясь веером, высочили чеченцы. С оружием наперевес, с криком «Аллах акбар!», открыв темные дышащие рты.

Пушкин видел набегавшую рваную цепь. Черные бороды, смуглые лица, испещренные арабской вязью лобные перевязи, приплюснутые черные шапочки, рыжее пламя стреляющих автоматов.

Их встречный порыв был ужасен. Они гнали перед собой яростный спрессованный воздух, разрывая его очередями и криками. Пушкин почувствовал ужас, желание кинуться вспять, расступиться на пути этих беспощадных, бесстрашных людей. Ужас длился секунду, превращался в слепое бешенство, в стремление поскорее схватиться, ударить очередью, кулаком, наклоненным лбом.

На него набегал высокий длинноволосый чеченец. Смоляные кудри, зеленая лента, огненные под выгнутыми бровями глаза. Рот был открыт, и из него исходили волнистые звуки, похожие на бессловесную песню. Длинное пальто отлетало, как темные крылья. Автомат нес на себе пышный одуванчик света, в котором темнела пустая, пробиваемая пулями лунка. Они стреляли друг в друга, промахивались, расходовали магазины.

С христом сшиблись костями, прикладами автоматов, лязгающими зубами, хриплыми kloкочущими кадыками. Приклад чеченца больно толкнул в плечо. Пушкин пропустил у скулы скользящий приклад и снизу стволом ударил длинноволосого под сосок. Тот задохнулся. Как в танце, крутанул черными крыльями пальто, выставил согнутую руку с ножом. Пушкин шлепком по бедру нащупал десантный нож. Метнули друг в друга ненужные автоматы. Чеченец округло, как тореадор, прогнулся и ударил Пушкина ножом. Лезвие ткнулось в бронежилет, проехало, разрезая ткань. Чеченец соскальзывал вместе с ножом, открывая бок, и в этот бок, под пальто, под черный взмах крыла, Пушкин всадил десантный нож, пропихивая лезвие глубже под ребра, заталкивая что есть силы в глубокую сердцевину. Чеченец ахнул, проматерился и рухнул, раскидав по снегу вьющиеся черные волосы. Глядел мимо Пушкина умирающими глазами. Пушкин подхватил автомат, переворачивая спаренные рожки.

«Лас-Вегас...» – повторил он окаменевшее в его голове слово.

В стороне Клык распарывал пулеметом бородатого набегавшего чеченца. Всадил ему очередь в живот у пупка, вел вверх, к горлу, разваливал надвое пламенем автогена. Чеченец

дыбился, взбухал, отрывал от земли пятки. Клык крестьянским движением подсаживал его на вилах на стог, как тяжелую сырую копну.

Флакон, падая, продолжал бежать, пока не уткнулся в снег румяным миловидным лицом.

Застреливший его чеченец скакал вокруг, отаптывая снег, словно совершал обрядовый танец, не прекращая стрелять вслепую.

Мазило сцепился с врагом врукопашную. Они катались по земле, издавали утробные крики.

Расцепились и поползли в разные стороны, словно выцарапали друг другу глаза.

Ерема перепрыгнул через убитого им чеченца, у которого отлетела маленькая красная шапочка и обнажился гладкий выбритый череп. Продолжал бежать дальше, по прямой, стреляя, хотя там, куда он стрелял, никого не было.

Все это увидел Пушкив, переворачивая сдвоенные рожки, не успевая пережить увиденное.

Вдоль дома бежал чеченец, уцелевший в контратаке. Быстро переставлял ноги в белых обмотках, стараясь достигнуть подъезда. Пушкив передернул затвор. Беря упреждение, выпустил в него длинную очередь, которая задымилась на цоколе, коснулась бегущего, утопила в нем несколько пуль и снова зачертила на цоколе дымную борозду. Чеченец с пулями в теле, как заговоренный, продолжал бежать и скрылся в парадном.

– Косой, в первый подъезд!.. – крикнул Пушкив сержанту.

Тот по-собачьи остановился, услышав голос хозяина. Секунду боролся со своим порывом, уносившим его в соседние двери. А потом широким загребающим жестом позвал солдат, издав длинный разбойничий свист, который далеко был слышен среди лязга автоматов.

– Ларчик, дезинфекцию!.. – крикнул Пушкив подоспевшему гранатометчику.

Оба они с Клыком по разные стороны подъезда прижались к цоколю. Ларчик серьезно и деловито наставил трубу с заостренным зарядом, швырнул в глубину подъезда огненный шипящий клубок, отвернулся от взрыва, выносившего наружу душный зловонный вихрь. И в эту горячую пыль, в тесную темень подъезда нырнул Пушкив, увлекая подбегавших солдат.

«Ладненько...» – думал он на бегу, опасливо прижимаясь к стене.

На ступенях, головой вперед, лежал чеченец в белых обмотках. Последние несколько метров он бежал уже после смерти. Граната пронеслась над его мертвой спиной, ударила в стену, оставив в кирпиче красную сочную кляксу. Дым от взрыва медленно возносился вверх по лестнице, и за этой сернистой вонью взбегал Пушкив, слыша сзади топот солдат.

«Ладненько...» – думал он, повторяя это слово, как охранный талисман.

На втором этаже дверь была выбита попаданием танка. На лестничной клетке прилип к стене убитый снайпер. Его расплющило взрывом. Он был похож на плоскую камбалу. Среди измельченных черепных костей, липких черных волос смотрели два кровавых выпуклых глаза.

«Ладненько...» – Пробегая третий этаж, Пушкив увидел растворенную дверь, внутренность комнаты, зеркальное трюмо и заложенный мешками, уменьшенный до бойницы оконный проем.

– Профилактику!.. – крикнул он через плечо бегущему следом солдату. Взбегая на четвертый этаж, услышал глухой треск гранаты, смешавший осколки стали и зеркала.

Четвертый этаж был полон дыма. Из чердачной двери валил чад от горевших перекрытий. И в этот чад из квартиры, перескакивая через несколько ступенек ногами в рваных носках, кинулся чеченский стрелок. Пушкив заметил его рваные носки с грязной пяткой. Не успел выстрелить, нырнул в едкую гарь чердака.

«Кушать подано...» – залетели в голову дурацкие, не к месту, слова.

Крыша была сорвана, сквозь горящие балки виднелось небо. Чеченец убегал, ловко перескакивая через бревна, грохоча по листам железа, рассыпая вокруг себя искры. Пушкив поймал его на мушку, когда тот взлетал над горячей поперечиной. «Кушать подано...» – он срезал

чеченца короткой очередью. Тот упал на пылавшую балку и стал медленно загораться, словно его одежда была пропитана нечистым жиром.

Пушков опустил автомат. В легкие ему попал зловонный дым. Он закашлялся. Сильней и сильней, злым удушающим кашлем, словно вместе с дымом в его бронхи залетели молекулы истребленной человеческой плоти. Он наелся трупов, и они начинали в нем разрастаться, раздували его. Он кашлял, хрипел, брызгал ядовитыми слезами.

Атака завершилась. Штурмовая группа занимала подъезды, выставляла посты, закреплялась среди дымящих развалин. Пушков, отдыхая от кашля, вытирая едкие слезы, смотрел на сквер. Черные деревья казались нарисованными тушью на белом снегу, который был утоптан, в следах, в извилистых тропах. Среди деревьев лежало несколько убитых чеченцев. Пушков отыскивал длинноволосого, разбросавшего по снегу черные крылья пальто. В тылу, у рубежа, от которого начиналась атака, виднелась корма санитарного транспорта, к которому на руках подносили раненых и убитых солдат.

Шло обустройство захваченного рубежа, который еще напоминал липкую рану, сочился, дрожал, но уже начинал подсыхать, затягивался коростой, превращался в рубец. По всему дому сновали солдаты. Заглядывали в квартиры. Постреливали наугад автоматами. Кидали в глущину комнат гранаты, опасаясь засевших чеченцев. Тушили тлеющую ветошь. Из обломков кирпича в провалах окон и стен сооружали наспех бойницы. Появился ротный, торопливый, нервный, удрученный потерями, не уверенный, что через час не последует приказ штурмовать соседний дом. В сквер, неуклюже качаясь между деревьями, вползли два танка, занимая позицию у торцов дома, чтобы рывком выйти на прямую наводку, выпустить снаряд и тут же скрыться за угол, спасаясь от гранатометчиков. Боевые машины пехоты сновали среди развалин, отыскивая место поудобнее, тыкались заостренными носами в кирпичные стены, елозили гусеницами, устраиваясь среди развалин, как на гнездах.

Пушков, остывая от атаки, бегло осмотрел захваченный подъезд, наспех разместил снайперов и пулеметчиков. Всмотривался через улицу в соседний зеленый дом с белыми выбоинами, опутанный сорванными проводами, с подбитой легковушкой у входа. Это был Музей искусств, который предстояло штурмовать. Он осматривал дом, словно определял его вес, перед тем как поднять. Примеривался, как его половчее и покрепче схватить, с каких углов, за какие выступы, за сколько рывков и толчков. Дом вызывал в нем отторжение, как штанга, которую, надрываясь, промокая за секунду липким потом, в скрежете жил и костей, придется схватить и поднять.

Зеленый дом был цел, не разрушен, лишь слегка надкусан легкими минами, как и весь следующий за ним квартал. После штурма дом осядет наполовину, потеряет свой зеленый цвет, превратится в пережеванную, парную, красную грудку, побывавшую в пасти рычащего хриплого чудища. Штурм пожирал квартал за кварталом, превращал город в кучи обглоданных мослов.

Солдаты лазали по разгромленным квартирам, удовлетворяя любопытство, влекущее их осмотреть чужие неохраемые жилища, куда без стука и позволения, не находя хозяев, не боясь запрещающего окрика, можно ступить. Перешагнуть сапогом расколотое зеркало, прислонить автомат к книжной полке, устало прилечь на двuspальную разобранную кровать. Дом был покинут жильцами, многократно обшарен боевиками. Солдаты осматривали покинутые огневые точки, россыпи гильз, остатки трапез и окровавленных одежд, как осматривают труп подстреленного хищника, еще недавно опасного, умертвленного, притягательного своей доступностью и безвредностью.

Взвод обедал сухим пайком. Вскрывали штык-ножами банки с тушенкой, расковыривали сгущенку, жевали, пили из фляг. Еще не остыли от боя, не могли расстаться с недавними видениями боя. Клык ел с лезвия, сглатывал холодный жир, слизывал мясные волокна, хватал их красным мокрым языком, жадно проглатывал.

– Как я его располовинил!.. Как на пилораме!.. Из одного «чеча» сделал двух!.. Если так дальше пойдет, удвоим население Чечни!..

Мазило, запивая сгущенку, запрокинул фляжку, булькал, проливал воду за ворот. Радостно и изумленно таращил один глаз. Под другим, заплывшим, наливался огромный синяк.

– Дух на меня налетает!.. Боданет башкой, как козел!.. У меня искры, как от сигнальной мины!.. Думаю, ранил в глаз, ни хера не вижу!.. Осмотрелся, где дух?.. А он по кругу бежит... Должно, обкуранный...

Косой ломал галеты, засовывая в рот сухие ломти, вздыхал сокрушенно:

– Жаль, подстрелили Флакона... Я думал, убит... Подхожу, а у него болевой шок... Я ему по щекам нахлестал, промедол вколол, он носом зашмыгал... Кажись, правое легкое пробили... Оклемается... Через месяц дома будет...

Ларчик слизывал с черного пальца белую каплю сгущенки. С неподдельным восхищением смотрел на Пушкина.

– Как вы, товарищ лейтенант, этого патлатого подрезали!.. С вами танго нельзя танцевать!.. Останешься на танцплощадке лежать!..

Пушков устало слушал, не прикасался к еде. Хотел было вскрыть тушенку, потянулся к ножу, но вспомнил, что лезвие только что побывало в человеческой плоти. В ложбинке клинка оставались коричневые потеки.

Он испытывал утомление, мешавшее ему участвовать в возбужденном разговоре солдат. И одновременно – беспокойство, не позволявшее радоваться успешной атаке и несомненной победе. Только что прожитая им малая часть жизни, от утренней сумрачной синевы с нетоптанным снегом и черными деревьями до полуденного солнца, блестящего на осколках зеркала и влажной броне, была рывком, свирепым и бурным вторжением. Он вторгся в свое будущее с помощью пуль, свистящих снарядов, сиплого дыхания и удара клинка, выкалывая в этом будущем малую нишу, куда помещал свою яростную жизнь, выбивая и изгоняя из этой ниши другие жизни. Те, кого он изгнал, лежали теперь на влажном снегу, похожие на скомканные мешки, а он занял их место, расположился в гнезде, откуда их изгнал. Станет оборонять это гнездо, обкладывая его битым кирпичом, мешками с землей, просовывать наружу стертые белесые стволы, натягивать вокруг минные растяжки, чтобы его не вышвырнули из этой завоеванной ниши и он не оказался на тающем блестящем снегу подобно скомканной гряде тряпья. Он проник в свое будущее, истребляя его, не сохраняя для себя, не имея возможности придумать его, как это он делал в недавнем детстве и юности, посылая вперед не пули, не атакующий взвод, а нежное чувство, сладкое ожидание чуда, молодую, обращенную ко всем сразу любовь.

– Товарищ лейтенант, у «чеча», которого вы уложили, на руке часы остались. – Ларчик долизывал сладкую молочную банку. – Разрешите снять, а то мои часики тикают только два раза в сутки. – Он показал запястье, на котором красовались разбитые остановившиеся часы. – Подкрепление из десантуры прибыло... Снимут чеченские часики... Разрешите снять?..

– Делай как хочешь, – устало сказал Пушков, поднимаясь с холодного пола. – Клык!.. Звонарь!.. За мной, в подвал!.. Там нужно оборудовать огневую позицию!..

Сверху, с догорающей крыши, стекала теплая гарь. По лестнице солдаты на стеганом красном одеяле стаскивали во двор остатки боевика, расплющенного танковым снарядом. Навстречу расчет гранатометчиков тащил вверх, к пролому в стене, треногу и ствол автоматического гранатомета. Незнакомый офицер-десантник, без знаков различия на пятнистом бушлате, связывался по рации, монотонно приговаривая: Фиалка!.. Я – Бутон!.. Я – Бутон... Пушков спускался по истоптанным ступеням в подвал, пропуская вперед ворчащего Клыка. Тот был недоволен тем, что его, отличившегося в недавней атаке, посылают на черновые работы, как новобранца. Звонарь послушно и торопливо семенил, неловко поддерживая автомат.

В подвале было темно. Из единственной скважины под потолком косо падал луч солнца, упираясь в противоположную бетонную стену. Привыкая к полутьме, Пушкив вглядывался в низкое помещение, в котором среди мертвой сырости витали слабые запахи человеческой плоти. Тут был стол с объедками, ломтями хлеба, сковородкой, на которой застыл тусклый жир. Табуретки и стулья вокруг стола были отброшены теми, кого за трапезой застало начало штурма. Вдоль стен на бетонный пол были постелены матрасы, и на них валялось скомканное тряпье. В углу стояла железная печурка с трубой, уходящей сквозь стену, и лежали приготовленные для растопки обломки мебели. Тут спали, ели, коротали время, укрывались от бомб и снарядов. В стене была приоткрыта тяжелая железная дверь, уводящая то ли в бомбоубежище, то ли в подземный коллектор, и из черного прогала тянуло ледяным сквозняком.

– Дверь закрыть, заклинить... – командовал Пушкив, оглядывая подвал, отыскивая какую-нибудь трубу или шкворень, чтобы ими припереть дверь. – Стол придвинуть к окну... На стол табуретку... Позиция пулеметчика... – Он смотрел под ноги, стараясь отыскать стреляные гильзы.

Но оконце не использовалось боевиками в качестве бойницы, смотрело в тыл, было бесполезно при отражении штурма. Теперь же из него был виден длинный зеленый дом, куда отступил враг и куда поутру устремится штурмовая группа.

– Давай шевелись!.. – Клык единым взмахом смел со стола объедки, стараясь попасть ими в стоящего Звонаря. – Чего стоишь, давай потащили стол!..

Звонарь торопливо приставил к стене автомат, туда, где уже стоял пулемет сержанта. Ухватился за край стола, и вместе они подтащили стол к стене у оконца. Клык плюхнул на стол табуретку, громко взгромоздился, выглянул наружу. Его лицо ярко осветилось солнцем, а в подвале стало темно.

– Отличная позиция!.. – заметил он, шевеля большими, освещенными солнцем губами. – Один пулемет роту задержит... А подавить его – если только прямым попаданием танка...

Пушков испытал странное оцепенение, словно время остановилось, вморозив в себя случайный орнамент явлений и форм, не успевших измениться в момент, когда вдруг ударил мороз. Большие, освещенные солнцем губы Клыка. Рука Звонаря, ухватившая край стола. Прислоненное к стене оружие, едва различимое в сумраке. Полуоткрытая железная дверь, откуда высунулся и замер черный сквознячок опасности. Все застыло и замерло, как застывают в льдине пузырьки воздуха, палые желтые листья, мертвый жук, очистки картофеля, который накануне в железной садовой бочке мыла мама. За ночь черная, дрожащая от ветра вода замерзла, покрылась недвижной серой льдиной, остановила в себе время.

Это длилось мгновение, которое, как кристаллик льда, измельчалось на мелкие corpusculы времени, а те, в свою очередь, дробились в хрупкую стеклянную пудру. Застывшее мгновение растаяло, и из него, размороженные, вылетели на свободу шевелящиеся на солнце губы Клыка, звуки его грубого голоса, бледная рука Звонаря, отпустившая край стола, и его, Пушкива, нога, переступившая на ступеньке. Сквознячок опасности, веющий из открытой двери, усилился, удлинился, стремительно и грозно надвинулся. Из черного прогала со свистом влетела в подвал огненная струя. Ударилась в стену, оставив липкий ожог. Скрикошетила в пол, у ног Звонаря, похожая на колючую маленькую комету. Отскочила под острым углом в потолок. Под черными сводами рванула коротким слепящим взрывом, наполнив подвал сыпучими искрами и твердым, как камень, ударом. Пушкива сильно толкнуло к стене, шибануло в нос жгущей вонью, залило глаза ядовитыми слезами. Сквозь слезы он видел, как, оглушенный, рушится со стола Клык, перепрыгивает через колючую комету Звонарь, доли секунды висит под потолком сверкающая разноцветная люстра, и в ее сверкании из железных дверей, как духи подземелья, выносятся люди. Один, в косматой шапке, держал на плече трубу с заостренной гранатой. Другой, в короткой подпоясанной куртке, с круглыми бешеными глазами, выставил автомат. Третий, обвешанный пулеметной лентой, чернородый, вытягивал длинный ствол.



Люстра погасла, в темноте были слышны топот продолжавших вбегать людей, чеченская речь. Кто-то тесно надвинулся на Пушкиова,дохнул в лицо нечистым дыханием, ударил с силой в живот. И этот удар, проникающая в желудок боль вырвали оглушенное сознание Пушкиова из тупого оцепенения.

Прозревая, что случилось огромное несчастье и это несчастье уносит его, Пушкиова, жизнь, и до смерти, почти неизбежной, остались мгновения, он исполнился вдруг непомерной предсмертной силы, которая разом увеличила его рост и объем. Разрывала стягивающие одежды, спарывала пуговицы на воротнике, драла швы ботинок на разбухших ступнях. С непомерной силой, ниспосланной ему в минуту смерти, он отшвырнул от себя нападавшего. Вцепился в его жесткие длинные волосы. Проткнул ему пальцем рот, наполненный мокрыми кусающими зубами. С силой рванул губу, разрывая мягкую, как пластилин, щеку. Нападающий взревел и отпал. Луч солнца из бойницы осветил подвал, и, теряя память, Пушкиов увидел чеченцев, уволакивающих в железную дверь оглушенных Звонаря и Клыка, косматое под вьющейся папашой лицо, целящее в него из пистолета, фонарики сбегавших сверху солдат и офицера-десантника, раздувающего над своим автоматом длинное грохочущее пламя.

Очнулся на этаже, на матрасе. В стиснутой ладони клок черно-синих чеченских волос. Ротный сжимал над его головой кулаки:

– Да за такое в трибунал!.. К стенке!.. Кто за солдат ответит?!.. Уж лучше бы они тебя с собой утащили, Пушкиов, а солдат мне оставили!.. Как станешь жить после этого!..

## Глава четвертая

Начальник разведки полковник Пушкин на бэтээре с группой спецназа осторожно пробирался маршрутом, по которому, согласно хитроумному плану командующего, выйдут из Грозного отряды Басаева, попадут в «волчью яму», подорвутся на минах, будут уничтожены кинжальным огнем пулеметов. Он выехал с командного пункта полка, оповестив наблюдателей, командиров пулеметных расчетов и артиллерийских батарей, чтобы они пропускали без выстрелов его одинокий, выкрашенный в белое бэтээр и он со спецназом не попал под шальную пулеметную очередь или взрыв случайной гранаты. Машина мягко колесила в степи, подбираясь к Сунже, вдоль которой, скрываясь под берегом, спасаясь от пуль в «мертвых зонах», пойдут чеченцы.

Полковник на броне, ухватившись за ствол пулемета, чувствовал боком тугое плечо прапорщика Коровко, мастера минного дела и взрывных работ, слывшего мудрецом за свое крестьянское глубокомыслие. Полковник извлекал планшет с картой, привязывался к местности, запоминая каждый бугорок и ложбинку, где можно будет укрыть засаду, расположить пулемет, рассеять на снегу лепестковые противопехотные мины. Он был сосредоточен, деловит, исполнен внутренней жесткости. Не выпускал из сознания всю многомерную, близкую к завершению комбинацию, простота которой возникала из сочетания множества сложных, виртуозно осуществляемых деталей.

Они выкатили на высокий заснеженный берег. Внизу, глазированный, подмороженный, блестел наст, и дальше, за волнистой белизной, чернела вода. Сунжа, глянцевиная, ленивая, оставив позади город, заводские предместья, металлическое нагромождение цистерн и трубопроводов, текла в снегах, вознося над руслом солнечный легкий туман. Полковник представлял себе, как ночью бесконечной вереницей пойдут по этому снегу боевики. Навьюченные оружием, продуктами, уставив салазки станковыми пулеметами, уложив на них дорожный скарб, коробки с архивами, мешки с казной, впрягутся в построики, проволочивая по глубокому снегу ящики с минами. Утомленные, надеясь на близкое избавление, здесь, на берегу, усмотрят под ногами первые красные взрывы, ужаснувшись глазами увидят огненные, бьющие из-за бугров пулеметные очереди.

Он услышал слабое повизгивание, казавшееся странным здесь, на пустынном берегу. Приподнял автомат, повернул голову. По насту, вдоль воды, со стороны туманного, в громыканиях и гулах города бежала собака. Породистый серый дог хромал, ковылял, подгибал переднюю ногу, опускал к земле тяжелую безухую голову. Его бок кровенел, был стесан до ребер, липко и влажно краснел на солнце. Собака проковыляла мимо, жалобно повизгивая, тоскливо взглянув на полковника. Придерживая автомат, Пушкин провожал глазами ее хромой бег.

Снова слышалось скуление, большое подвывание. Две собаки, одна черно-коричневая вислоухая дворняга, другая бело-рыжая колли, бежали рядом, обе раненные. У дворняги был выбит глаз, морда залита черной жижей. У колли свалилась на спине грязная шерсть, превратилась в черно-красный колтун, к которому прилипли мусор, остатки ветоши. Собаки бежали рядом, словно поддерживали друг друга, не давая упасть. Прижимали уши, вбирали головы, не оглядывались на туманный город, в котором перекачивались гулы и рокоты.

Полковник следил за ними, за слабой тропой, которую оставляли на твердом насте собаки, за темными катышками падающей и тут же замерзающей крови.

Вновь донеслось повизгивание, постанывание, жалобное подвывание. Приближалась стая собак, неровное, волнообразное движение, тоскливые звуки, пестрое разномастное скопище. Все животные были ранены. Хромые, ободранные, опаленные, с оторванными конечностями, выбитыми глазами, раздавленными мордами. На коричневом боксере струпьями висела сгоревшая кожа, вздулись розовые волдыри. Каждый шаг причинял ему страдание, и он на

ходу повизгивал. Немецкая овчарка лишилась половины морды, из развороченной скулы торчали голые блестящие зубы. Она затравленно озиралась, ожидая то ли помощи, то ли выстрела, обрывающего страдание. Большой безродный пес с кровоточащей раной выбегал из стаи, ложился на снег, остужая боль, и когда поднимался, на снегу оставалась красная сочная лежка.

– Собачий госпиталь разгромили или что?.. – изумился прапорщик Коровко, поправляя на коленях автомат. – Как инвалиды бредут за милостыней...

Казалось, и впрямь где-то разбомбили собачий травмопункт, и все, кто мог, спасались, уносили свои искалеченные тела. Собак объединяло страдание, желание выжить. За их спиной рокотал город, который их изувечил, похоронил под обломками их хозяев. Пушкив смотрел на исход собак, стараясь в этом зрелище ухватить главный, касавшийся его, разведчика, смысл.

Грозный был обречен. В нем была невозможна жизнь. Эта искалеченная, изуродованная жизнь покидала горящий, сотрясаемый взрывами город. Если собаки, сведенные в стаю, совершали свой смертный исход, то вслед за ними неизбежно уйдут отряды боевиков. Концентрация смерти в городе была такова, что в любой момент можно было ожидать прорыва Басаева.

Собаки своим звериным чутьем выбрали для исхода наиболее безопасный маршрут. Тот самый, на стыке полков, который тщательно готовил Пушкив. Хитрость разведчиков обманула инстинкт собак. Она обманет и звериную прозорливость Басаева. Здесь, по насту, краем реки, пойдут отряды чеченцев, найдут свою гибель.

Об этом свидетельствовало шествие побитых собак. В этом был драгоценный смысл случайного зрелища.

– Их бы всех сейчас из пулемета добить, чтоб не мучились, – заметил прапорщик Коровко, выпуская в солнечные снега теплую струйку дыма. – Интересное дело, людей не жалко, а собак жалко... Война – она и для скотины война...

Пушков соскочил с бэтээра, услышав, как хрустнул под ногами осевший наст. Пошел к реке, проваливаясь по щиколотку, ощущая на себе, сколь труден будет проход чеченцев, как быстро станут терять они силы, оседая в снег. Прапорщик, держа автомат, шел следом, готовый стрелять.

Пушков подошел к воде, плавной чернотой омывавшей белый берег. В сумрачной зелено-коричневой глубине гуляло солнце, освещало илистое дно, длинные блеклые водоросли, струящиеся по течению. Берег покато и постепенно погружался, и полковник подумал, что чеченцы, избегая минных полей, могут пойти по воде. Тем плотнее должен быть истребляющий огонь пулеметов, чтобы промокшие, обледенелые на морозе боевики не смогли избежать смерти.

По воде проплывало радужное пятно нефти. Колыхало цветными разводами, переливалось, как огромная медлительная медуза. Вслед за пятном появилась крупная льдина, в которую был вморожен эмалированный таз, украшенный яркими цветами и листьями. Льдина, проплывая, медленно поворачивалась, и полковник с берега рассматривал покрытый узорами таз. Льдина исчезла, и ее сменила скатерть. Казалось, она была расстелена прямо на воде.

Мягко струились ее узоры, волновалась кружевная бахрома.

– Выловить да на портянки пустить... – задумчиво сказал прапорщик, провожая уплывавшую скатерть. – Небось, лен чистый...

Пушков смотрел вверх по реке, истекавшей из далекого задымленного города, несущей на воде вести о незримых событиях. Что-то слабо белело, колыхалось, медленно приближалось, и полковник издали хотел угадать, какую весть несет ему река.

На темной, затуманенной воде приближалась голая женщина. Молодая, с черными стеклянно льющимися волосами, лежала на спине, лицом вверх. Из воды выступала округлая высокая грудь, розовые охлажденные соски. Под тонкой прозрачной водой белел живот с темным углублением пупка, правильный кудрявый треугольник лобка. Одна ее нога слегка сгибалась в колене, погружалась, чуть колыхалась, и казалось, женщина сладко дремлет на волнах. Цвет

ее тела был белый, чистый, без следов насилия. На лице темнели большие открытые глаза, розовели пухлые губы. Она казалась теплой. Легкое испарение реки, витавшее над ней, было ее живым дыханием.

Пушков пораженно смотрел на проплывавшую женщину, на ее тонкие пальцы с золотым колечком, на маленькие розовые уши, в которых мерцали крапинки рубинов. Подумал, что это истекает по водам душа города, покидает его навсегда. Город остается пустым, бездушным, обреченным на уничтожение.

– Красивая... – сказал Коровко, глядя на проплывавшую женщину. – На такой бы женился...

Пушков оглянулся на его близкое усталое лицо, обветренное, в грубых тяжелых складках. В прищуренных зеленоватых глазах, следящих за уплывавшей утопленницей, было смутное, необъяснимое выражение.

Они въехали в пригород, в район нефтеперегонных заводов. Бэтээр пробирался среди стальных конструкций, металлических башен, реакторов. Огромные сферы были похожи на воздушные, готовые взлететь шары. Над ними туманились коконы, напоминавшие аэростаты. Цилиндры нефтехранилищ заслоняли небо. Повсюду были трубы, вентили, стальные мембраны. И все было взорвано, прострелено, смято и изувечено взрывами. Повсюду был снег, ветер. Казалось, они находятся в чреве огромного корабля, который натолкнулся на айсберг, был расплюснут страшным ударом, вмерз в лед. И если заглянуть в эту стальную конструкцию, похожую на корабельную рубку, увидишь мертвого обледенелого капитана.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.